

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 40

1984



*Юлиан СЕМЕНОВ*

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

**ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 40

---

Юлиан СЕМЕНОВ

# ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1984

## Юлиан СЕМЕНОВ

Юлиан Семенович Семенов родился в 1931 году в Москве. По образованию — востоковед. Много лет работал корреспондентом «Правды», «Огонька» и «Литературной газеты» в странах Европы, Азии и Америки.

Первая повесть — «Дипломатический агент» — написана Ю. Семеновым в 1959 году в Кабуле. В 1963 году Ю. Семенов публикует повесть «Петровка, 38».

В 1965 году Ю. Семенов начал публиковать цикл романов под общим названием «Альтернатива». Главный герой всего цикла — чекист-разведчик Максим Исаев — Штирлиц, в чьем образе воплотились характерные черты советских чекистов, воспитанных Коммунистической партией, Ф. Э. Дзержинским.

Роман-хроника «Горение» (1977) посвящен началу революционной деятельности Ф. Э. Дзержинского (1900—1906).

В повести «ТАСС уполномочен заявить...» писатель разоблачает попытки американского империализма превратить в свою колонию одну из африканских стран.

Юлиан Семенов — лауреат Государственной премии РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР.

© Издательство «Правда». Библиотека «Огонек». 1984.

---

## Юлиан Семенович СЕМЕНОВ

### ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Редактор Ю. С. Новиков

Технический редактор О. Н. Ласточкина

---

Сдано в набор 18.07.84. Подписано к печати 06.10.84. А 12858. Формат 70×108<sup>1/32</sup>. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд. л. 4,25. Усл. кр.-отт. 2,98. Тираж 91 000 экз. Изд. № 2479. Зак. № 3202. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

## ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

### Маленькая повесть

#### 1

Неторопливым, вальяжным, а потому начальственным жестом Назаров пригласил Писарева к длинному отполированному до зеркальности столу совещаний, поднялся со своего рабочего места, сел напротив, сдержанно улыбнулся, отчего его сильное лицо со следами загара собралось еще больше, спросил:

— Что будем пить? Чай? Или попросить кофе?

— Если позволите, кофе.

— Я-то позволю, а вот как доктора?

— На сердце пока не жалею.

— Вам сколько?

— Сорок восемь.

— Не возраст, конечно, но уж пора начинать серьезно думать о здоровье.

— Как начнешь думать, — улыбнулся Писарев, чувствуя, как проходит скованность, охватившая его, только он переступил порог этого большого, в деревянных панелях, кабинета заместителя начальника главка, — так непременно заболеешь.

— И то верно, — так же улыбочиво согласился Назаров и нажал кнопку, вмонтированную в этот блестящий стол рядом с телефонным аппаратом.

Вошла секретарь с блокнотиком в руках. Назаров покачал головой:

— Нет, писать сейчас ничего не будем. А вот не могли бы вы сварить кофе: заслуженный артист, — он кивнул на Писарева, — от чая наотрез отказался. Если у нас остался зеленый, узбекский, заварите мне чашку, пожалуйста, только не крепко, чтоб сердце не молотило; эскулапы требуют соблюдать режим, — пояснил Назаров и, сцепив крепкие пальцы, придвинулся к Писареву, опершись локтями о стол.

«И как локти не покатыются? — успел подумать Писарев. — Стол словно каток».

...Он всегда с почтением относился к тем, кто умел кататься на коньках. Отец как-то привел его в парк культуры; это было в последнюю предвоенную зиму; гремела музыка: «Утомленное солнце нежно с морем прощалось»; юноши и девушки в байковых курточках и модных тогда, очень широких шароварах катились по льду, звук, который издавали коньки, соприкасаясь со льдом, был хирургическим, жестким.

В раздевалке, взяв напрокат коньки, отец посадил его в кресло, привязал коньки ремнями к ботинкам и сказал:

— Сейчас я надену свои, серебряные, и научу тебя кататься.

Сане Писареву было тогда восемь лет, а отцу тридцать два, и он казался ему очень старым, но самым добрым и умным; он очень жалел отца, особенно после того, как папу сняли из-за брата Лени с работы и ему пришлось перейти слесарем в автобазу редакции «Известий».

— Ну, пошли, сына, — сказал отец, забросив на плечо свои ботинки, связанные тесемочками. — Давай руку.

Саня поднялся, хотел было протянуть отцу руку, но нога его подвернулась, и он, не удержавшись, упал, больно ударившись локтем об урну.

— Не беда, — сказал отец, подняв его легко и сильно, — я ушибся о камень, это к завтраму все заживет.

— Я об урну, какой же там камень?

— Тоже верно, — легко согласился отец; он всегда легко соглашался с Саней; когда мог, говорил «да»; только раза три в жизни он сказал сыну «нет», и мальчик запомнил «нет» на всю жизнь. Особенно одно. Он часто слышал, как сестра отца говорила бабушке: «Лене уж ничего не поможет, его не восстановят, а Игорь (так звали отца) губит и свою жизнь и жизнь Саньки! Неужели так трудно написать десять слов, отмежеваться от Лени — он и так подвел всех нас под монастырь, — и все вернется на круги своя, Игоря вернут в институт, тебе не надо будет считать копейки, чтобы дотянуть до полочки... Саньку и в лагерь-то не взяли из-за его упрямства!»

«Папа, — сказал Санька перед сном, когда отец сел к нему на диван и приготовился сочинять сказку на ночь, — напиши, чтоб меня взяли в лагерь».

«Нет».

«Почему?»

«А что я должен написать?» — после долгой паузы поинтересовался отец.

«Десять слов».

«Какие это должны быть слова, ты знаешь?»

«Нет».

«Если бы тебе сказали, что твоя мама — воровка, что она уносит из своей библиотеки книги к нам в дом, а ты знаешь, что это неправда, но тебе говорят: «Напиши, что она берет книги, и ты поедешь в пионерлагерь «Пахру», — ты бы написал?»

«Нет».

«Молодец. Никогда нельзя писать неправду. Говорить, впрочем, тоже. Иногда, правда, случается, совет человек, стыдно, конечно, но можно простить, если он не со зла это сделал. А вот если он пишет осознанную неправду, тогда он хуже Бармалея и Барабаса. Тогда он просто-напросто... гадюка».

«Как змея?»

«Как змея».

«Живая или мертвая?»

«Живая».

«С жалом?»

Отец вынул язык и сказал: «Вот с таким!»

Санька долго смеялся, а отец гладил его по лицу, и глаза его стали отчего-то очень большими, почти без зрачков.

«Запомни, сына, — сказал он, закончив сказку, — легче всего сказать «да», только есть у нас пословица: «Доброта хуже воровства». Это долго объяснять, но ты это запомни, как «дважды два», — стодится, когда вырастешь. Очень трудно говорить «нет»; станут обвинять: «упрямый», «своеправный», обижать станут и обижаться, но если ты знаешь, что прав, иди на все, но ответь «нет». Пройдет время, и незнакомые люди скажут тебе за это спасибо. Большая подлость всегда начинается с маленькой, безобидной лжи».

...Второй раз отец сказал «нет», когда Саня попросил заступиться: его дурили Беркут из второго подъезда и Гога, сосед по парте.

«Почему?» — спросил сын.

«Потому что ты сам должен уметь давать сдачи».

«Но они ж сильней меня!»

«Ну и прекрасно! Неужели ты станешь драться с теми, кто тебя слабее? Это не драка, а избиение. Если они сильней и тем не менее бьют вдвоем, значит, они трусы. А с трусами расправляются. И не бойся синяка: он проходит. А вот ощущение собственной слабости, страх, неуверенность не пройдут никогда, и ты сделаешься несчастным, маленьким мышонком, а не человеком»...

...Отец тогда, в парке Горького, вывел Саньку на лед, но мальчик никак не мог стоять на коньках; он то и дело падал, ноги тряслись, разъезжались, отец хохотал, показывал, как надо катиться, расслабив тело. Санька попробовал и снова растянулся, набив себе шишку на лбу. Это было до того обидно, что он заплакал, а отец все равно весело смеялся, и этого Санька не мог перенести: «Какой же ты, папа, жестокий!» И пополз по льду, а мимо него пронесились конькобежцы, и звук металла, режущего лед, был страшным и близким.

Отец поднял его на руки, стал целовать, и снова глаза его сделались

какими-то по-особенному большими, и Санька, уткнувшись ему носом в шею, прошептал: «Вы все умеете скользить, а я так и останусь на всю жизнь неуклюжим».

И остался. Но с тех пор сохранил какое-то особенное испуганно-восторженное отношение к конькобежцам, даже все соревнования посещал, силясь понять тайну устойчивости человека на зеркале.

...— Я думаю, Александр Игоревич,— заговорил Назаров,— что разговор наш будет посвящен тому, что вы в своем письме обозначили «генеральной темой». Письмо ваше ставит интересный вопрос, но кое в чем вы перегибаете палку: излишний максимализм в век культурной и научно-технической революции чреват... как бы точнее определить... неоправданным риском, что ли...

Писарев отчего-то явственно увидел лицо отца, услышал его «нет» и заметил:

— Тот ничего не достигнет, кто не рискует, Станислав Федорович... Назаров чуть покачал головой, мягко поправил:

— Тот ничего не достигнет, кто не ошибается,— с такого рода формулировкой я готов согласиться. Риск и ошибка суть понятия полярные. От ошибок никто не застрахован, да и поправить ее можно загодя: никогда не поздно просчитать исходные, что ли, данные ошибки. А риск внезапен; экспромт, эмоция, а не спасительная логика. Вы, ваша творческая группа — это малая общность, которая обращается со сцены к большей общности, так стоит ли рисковать в такого рода деле? Будь вы гимнастом — куда еще ни шло, но и там я бы подумал: а ну, неподготовленный толком, грохнетесть и позвоночник сломаете? Каково тогда будет вашему тренеру смотреть в глаза товарищей?

— Искусство не спорт...

— Почему? — искренне удивился Назаров.— Разве катание на льду не искусство? Или возьмите футбольный матч на первенство мира, Франция и Западная Германия. В этом поединке было что-то гладиаторское, а разве можно отказать гладиаторам в праве считать себя артистами?

Писарев улыбнулся:

— Только у нас вместо львов критики...

— И мы еще покоя не даем,— так же улыбочиво добавил Назаров и еще ближе заскользил локтями к Писареву.— Словом, ваши драчливые идеи мне нравятся. Я, конечно, не всесилен, но, сдается, руководство главка поддержит меня. Сформулируйте поточнее темы, которые вы хотели бы вынести на подмости экспериментальной мастерской.

Писарев собрался было отвечать (он вообще-то говорил сумбурно, увлекаясь, поэтому несколько раз дома репетировал сегодняшнюю беседу), как вошла секретарь с подносом; поставила кофе, чай, сухое печенье и конфеты; обратилась к Писареву:



— Только сгущенного молока в моих запасах не оказалось.

— Спасибо, но я как раз пью черный...

Назаров легко глянул на большие часы, стоявшие в углу кабинета, и Писарев сразу же понял, что времени у него в обрез.

«Только б успеть все выложить, — подумал он, — и не переторить-ся».

Он отчего-то вспомнил, как мама учила его: «Прежде чем сказать, проведи языком по небу пять раз, ты ведь всегда бухаешь, что думаешь, нельзя так».

А отец сердился: «Если человек боится говорить то, что думает, значит, он дрянь! Из таких получаются предатели!»

Эта разность точек зрения мучала мальчика: когда он поступал так, как советовала мама, его лупили, над ним смеялись: «трус». Попробовал жить по-отцовски — чуть не исключили из комсомола в десятом классе.

Поэтому, рассказав своим сыновьям, Васе и Димке, про то, как ему приходилось выбирать между отцом и матерью, Писарев посоветовал: «Вы, парни, говорите то, что думаете; это верно, что из молчунов получаются изменники чаще, чем из тех, кто костит все направо и налево; но все-таки прежде, чем произносить слово правды, проведите языком по небу раза три-четыре».

Вася, старший, студент уже, посмотрел на младшего брата (они тогда сидели втроем в кафе-мороженое, это у них был воскресный ритуал с тех пор, как Писарев расстался с Лидой, их матерью, и жил отдельно, сняв однокомнатную квартиру у Потапчука, уехавшего в загранкомандировку на три года) и сказал:

— Нам тоже трудно выбирать, па.

Писарев хотел ответить, что не он в этом виноват, но потом сказал себе, что и он виноват, поэтому промолчал и, чувствуя, что выглядит в глазах сыновей жалким, начал делать жесты официантке; та подошла быстро, узнав, видимо, его по недавнему телеспектаклю, и он стал излишне экзальтированно выспрашивать ее про какое-то особое ассорти, и тогда Вася положил свою крепкую ладонь на его колено и сказал:

— Па, ты только не сердись, ладно?

..Назаров придвинул к себе маленький блокнот, лежавший возле телефона, раскрыл его, достал ручку, приготовился записывать; на часы больше не смотрел.

— Мы хотели бы, во-первых, сделать представление, очень красочное, некий мюзикл, «Министерство сердечности»... О том, как важно нам всем жить с открытой душой, как горько, когда сердечность исчезает из человеческого общения...

— Хорошая мысль, — отметив что-то в своем блокнотике, согласился Назаров, — только за создание нового министерства вас не похвалят, и так их слишком у нас много, нарушать намерены принцип режима экономии?

— «Центр сердечности» — еще хуже, — возразил увлеченно Писарев. — Вроде как «онкологический центр»...

— Ну, это не мне решать, а вам, я только высказываю соображение; повторяю: идея хорошая; добрая, я за.

— Второе представление, над которым мы много думали, называется пока что условно: «Урок политеса». Я, знаете, до сих пор не могу себе простить, что в букинистический сдал книгу «Правила хорошего тона»... Студент был, денег не хватало на билет, ехали на море нашей коммунальной отдыхать...

— Я помню это издание, — откинувшись на спинку стула, сказал Назаров. — Мы изучали эстетику, и наш профессор советовал нам посмотреть именно эту книгу. Мы тогда, — усмехнулся он, — должны были как раз драконить этот хороший тон... Крутые были времена, что поделаешь... Тема тоже интересная, нравится мне все это... Я только не очень представляю, как урок политеса можно сделать зрелищем... Если нет интриги, будут ли смотреть? Впрочем, это опять-таки ваша забота, вы художники, вам и решать...

— Это будет очень сюжетно, Станислав Федорович, поверьте, я не умею рассказывать замысел, мне легче показать все это на сцене, с музыкой, кинопроекцией; зрелище, особенно массовое, всегда сюжетно...

— Уговорили, — легко и тактично поторопил Назаров, — согласен.

— У нас множество планов, — заторопился Писарев, но, вовремя спохватившись, провел языком по небу два раза и, кашлянув, заключил: — Политес не в том, чтобы соблюдать внешние правила хорошего тона, это мелко; политес — если хотите — можно также подтвердить неким учреждением типа «Министерство красоты»... — Но, угадав смешинку в глазах Назарова за мгновение перед тем, как она вспыхнула, легко отыграл: — Штатное расписание, как понимаю, горплан нам не утвердит, так что поищем варианты. И, наконец, последнее из того, что мы считаем первоочередным, столь же важным, как и первые две задумки, — спектакль под названием «Вехи»...

— Название не годится, наши горячие головы вас обвинят в устряловщине, «смене вех» и во всем таком прочем! И так многих подкусываете в ваших постановках, думаете, мало у вас врагов из числа перестраховщиков?

— Но это же вехи нашей истории, Станислав Федорович!

— Назовите «этапы». Или «часы». «Звездные часы», наконец, никто не упрекнет вас в подражании Цвейгу.

— Еще как упрекнул...

— Опять-таки я высказал свою точку зрения, вы вправе не согласиться со мною, Александр Игоревич... В конечном счете это вопрос формы... Какие периоды истории намерены осветить?

— Начиная с Киевской Руси, через Александра Невского к Дмитрию Донскому, Ивану Калиту, Грозный, смута, Петр Великий,

Радищев, декабристы, Пушкин, Народная воля, Ленин, Революция, борьба с нацизмом, космос, БАМ.

— Думаете уместить в одно представление?

— Нет, мы хотим попробовать сделать спектакль, который бы распался на три представления, вроде бы трехсерийный, по три вечера.

— Любопытно... Вы никак не тронете проблему борьбы за мир? Писарев неожиданно для себя заскользил локтями к Назарову и чуть что не выкрикнул:

— Так вот ведь и название, Станислав Федорович! Для всего предприятия! «Концепция мира»! Разве нет?!

— Здорово, — согласился Назаров, — просто здорово.

Он снял трубку телефона, предварительно нажав одну из кнопочек на столе, — видимо, включился в сеть, набрал номер и сказал:

— Кирилл Владимирович, добрый день... У меня в гостях Александр Игоревич Писарев... Да... Именно по поводу его письма. У него очень, с моей точки зрения, интересная идея с созданием нового театра массовых зрелищ... Кто у нас этим занимается? Кто? — Назаров быстро пометил что-то в своем блокноте. — Очень хорошо. Вот вы его и попросите подготовить решение, а письмо товарища Писарева я переешлю вам. Хорошо... Да нет, еще не выносили... Просто-напросто плохо проработано, поверхностно... Как бы сказал Александр Игоревич, бессердечно... Да... Пусть посмотрят еще раз, тогда и примем решение... Хорошо, спасибо...

Он положил трубку на рычаг; лицо его чуть расслабилось, потеплело, когда он увидел сияющие глаза Писарева, ставшие гораздо большими, чем раньше; хотел что-то сказать, но в это время раздался звонок.

— Если б не мог отключаться, — заметил он, снимая трубку, — о работе не было б и речи, звонки, как в справочном бюро.

Глянув еще раз на часы, он сказал:

— Слушаю...

Прикрыл трубку ладонью, извиняюще шепнул:

— Дочка...

Писарев удивился той перемене, которая произошла в лице Назарова: крепко рубленные морщины разошлись еще больше, от чего стало заметно, как он стар, — мелкие, сетчатые морщинки на висках, запавшие, усталые глаза, цыплячьи — от постоянного напряжения, — продольные складочки на шее.

— Да, Ариночка, да, маленькая... Нет, нет, пара минут у меня есть... Да что ты говоришь?! Ну, поздравляю тебя... Только осторожно, Аришка... Ну, об этом мы еще поговорим. Мы с мамой ждем тебя сегодня. До свидания, Арина...

Он положил трубку, выключил аппарат из сети:

— У Арины очередь на «Жигули» подошла, вчера купила, сейчас номер дали. Она у меня хоть молоденькая совсем, но послезавтра защищается, бытовая химия, чертовски интересно и нужно. Так вот, Александр Игоревич, вашим вопросом, как вы слышали, займется мой коллега, зовут его Кирилл Владимирович... Возьмите у Аллы Лукиничны — она нас кофе угощала, мой секретарь, мы вместе уж как двадцать лет работаем — номер его телефона и позвоните к нему сразу же, быка надо брать за рога, наше дело чиновное, закрутят по совещаниям, не ровен час забудет. И — приглашайте на премьеру.

В приемной было полно народу.

Алла Лукинична улыбочиво покачала головой:

— Говорили, что на десять минут... Все вы такие, режиссеры да артисты...

Она пропустила к Назарову трех человек из горснаба, сказала ожидающим, что все, так или иначе, смогут посетить Станислава Федоровича до обеда, потом обернулась к Писареву:

— Ну, все хорошо?

— По-моему, замечательно,— ответил он.— Просто-таки лучше и быть не может. Станислав Федорович велел мне от вас позвонить Кириллу Владимировичу...

— Звоните,— ответила секретарь,— вот по крайнему телефону, это наш местный, прямой, три-пятнадцать.

Кирилл Владимирович звонку Писарева обрадовался, спросил о здоровье, планах, посетовал на сумасшедшую погоду и сказал, что через пару дней с Писаревым свяжутся, когда проект решения о создании нового зрелища обретет форму приказа.

...Готовить приказ по театру было поручено не кому-нибудь, а Василию Викторовичу Грущину, который знал Писарева с институтских еще времен; режиссер из него не вышел, он сначала работал в кинофикации, потом начал пописывать о театре; защитил диссертацию и, наконец, осел в управлении в должности главного консультанта...

## 2

Группа репетировала в бывшем складе: начальник отдела нежилых помещений района Трофим Германович Лаптев оказался тем юным «спецом» по кличке «Трюфель», который жил в одной квартире с Писаревыми; они занимали комнату возле ванной, а родители «Трюфеля» получили чулан возле кухни.

«Трюфель» был на девять лет старше Писарева и учился в военной «спецухе» возле Бородинского моста; носил клещи и гимнастерку с узенькими погончиками. Ребята преклонялись перед ним; в сорок третьем он ушел на фронт, семнадцатилетним; прощаясь, подарил

пацанам кисет с махоркой и три пакетика папиросной бумаги; вернулся — капитаном уже — в сорок пятом, отправляясь на Дальний Восток громить японцев.

Сане Писареву тогда жилось тяжело, мать работала посудомойкой в эвакогоспитале, спасало то, что главврач позволял брать с кухни пюре и капусту в судке; Лаптев пришел к ним в комнату и, взъерошив Саньке голову, положил на стол трофейную «лейку» и упаковку шоколада.

— Перебьешься, — сказал он, — только счастье бесконечное, а всякое горе свой срок знает.

С тех пор они не виделись.

Когда Писарев, взяв двух актрис, много снимавшихся в кино, и композитора, песни которого знают и любят, пришел на прием просить хоть какое-нибудь помещение в аренду для его труппы, Лаптев, щуря маленькие, слезящиеся, прозрачно-голубые глаза-буравчики (глянет — как прошьет, поэтому глаза поднимал редко, боясь, видимо, понять все то, что про него, замухрыжистого, в стоптанных ботиночках и кургузом пиджачке не по росту, думали), выслушал просьбу и, резанув Писарева глазами, ответил уныло:

— М-да, вот штука-то кака...

Писарев тронул локтем актрису Киру; та, подвинувшись к Лаптеву так, чтобы он близко видел и лицо ее, и вырез на платье, и ощущал аромат горьких духов, повела свою заранее расписанную роль:

— Трофим Германович, станьте нашим другом и советчиком! Мы обещаем вам, что наш театр делается самым массовым в районе, самым добрым, самым нужным людям!

Вступил композитор:

— Молодежи негде проводить вечера; танцзалов у них нет, кафе тоже, пивных тем более, вот они и разбредаются по подъездам и подворотням, хулиганство, драки, пьянство. Театр станет неким магнитом, и нужно для этого всего-навсего позволить труппе арендовать пустой склад в Опалихинском...

— М-да, — снова повторил Лаптев и приготовился слушать вторую актрису, Клару.

Та стала говорить ему о трагическом величии подмостков, о Станиславском, о том, как тот начинал; Лаптев вертел в плоских пальцах огрызок химического карандаша, согласно кивал головой, потом, откровенно зевнув, откинулся на спинку скрипучего канцелярского стула и, прикрыв ладонью рот, сказал:

— Поскольку театр начинается с вешалки, во-первых; поскольку вы не можете работать без кулис и подмостков, во-вторых; и, наконец, в-третьих, поскольку актерам нужны гримбурные, склад на Опалихинском вам никто не даст.

Писарев посмотрел на коллег, вытаращив глаза (они у него — это от отца — делались большими, вываливающимися, что ли, когда он

удивлялся чему-то или радовался; редко — если был обижен), потом захлопал в ладоши:

— Господи, живой! Он живой, люди!

— Я живой, — ответил Лаптев, — а ты — Санька, что ль?

— Ну да, — ответила Кира, — Александр Игоревич...

— А я Трюфель, — улыбнулся Лаптев, поднял глаза на Писарева и вдруг замер весь, съезжившись оттого, что испугался: а вдруг тот не вспомнит. Тогда вся его игра (он к ней загода готовился, зная, что на прием записался Александр Писарев, заслуженный артист и лауреат) обернется жалкой и не понятной никому клоунадой, и он представил вдруг себя со стороны, а дальше и не знал, про что думать, пока Писарев не поднялся медленно, обошел стол и потянулся к Лаптеву, словно к старенькому отцу, и они обнялись и начали молча и судорожно — что со стороны казалось ужасно деловитым — тискать друг друга и ерошить волосы.

Кира тоже заплакала, а композитор и Клара отошли к окну.

— Ну, вот что, — сказал наконец Лаптев чужим голосом, — я тут на всякий случай в шашлычной заказал столик у Жоры, пошли, там и поговорим, я ж нарочно прием на пять тридцать назначил, чтоб вы были последними, приглашай друзей, Саня, милости прошу...

Как и большинство людей, влюбленных в искусство, Лаптев был невыразимо горд тем, что Писарева он называл «Саня», был чуть снисходителен к нему, когда представлял в шашлычной Жоре; после первой рюмки заговорил о театре Максимова; заботливо и чуть старомодно угощал актрис, наблюдая, чтобы у них были самые прожаристые куски мяса; загрустил, когда композитор, так и не выпив ни рюмки, поднялся из-за стола — «концерт, нельзя опаздывать», «да как же, только сейчас чебуреки сделают, Жора сам в честь Сани решил приготовить, он мастер по этому делу», и чуть не до слез обиделся, заметив, что Писарев полез за деньгами, расплачиваться.

— Сань, так не надо, я ж заранее все подготовил, — сказал он тихо, — для тебя это просто вечер, а я как словно озону надыхался...

Потом, отправив актрис по домам, они ходили по городу чуть что не до утра; Лаптев рассказывал про себя; в шестидесятом демобилизовали, полковник в отставке; дочь замужем, на Шпицбергене, надо покупать кооператив; старуха, да-да, старуха, пятьдесят девять, она ж на два года старше меня, хворает, ревновать стала, как задержусь, так, значит, у баб, а мне б только до дивана и телевизор включить вместо массажа, говорят, как журчат, если не вслушиваться, то и заснешь спокойно, без димедролу; пенсия богатая, двести пятьдесят, и старуха сто десять, но без работы нельзя, погибель, думы грызут, все тебе не то, все не туда, а когда сам в деле, так мир чище видишь, понимаешь две стороны медали, не только на дядю, что сверху, гневаешься, но и на себя самого, на всех нас, тоже хороши; Обломов, Сань, не в Америке родился и не при нашем строе, так что, коли все на

шустрых валить, и вовсе замшем, на себя надобно оборачиваться, как никак, мы сила, с нас и спрос; а ты изменился, знаешь, вроде б даже помолодел; нет, правда, мы ж не женщины, чтоб комплиментировать, в тебе, мальчишке, больше старика было, чем сейчас; я понимаю, любимое дело всему голова, как песню поешь каждый день с утра; знаю, и про папу твоего знаю и про матушку, я ж в нашу квартиру заходил, покада тетя Фрося из девятой комнаты не преставилась, ей же телефон поставили за два года до смерти как ветерану, так она всех обзванивала, все про всех знала, старушка, пусть ей земля будет пухом; она на тебя не сердилась — они ж, старухи, добрые, — говорила, что ты ей часто звонишь, а мне-то известно, что ты и номера ее не знал, два раза торт принес, от твоего имени записочки писал, ну чего ты, Сань, ну, не надо, извини, ей-богу...

...Склад писаревской труппе дали через две недели, Лаптев провел решение рекордно быстро, причем сумел сделать так, что тарной базе, примыкавшей к складу, предложили другое помещение, и Писареву, таким образом, представилась возможность переоборудовать базу под мастерские, гримуборные и костюмерную. Комсомольцы района помогли отремонтировать склад и базу, выходили, как на субботник, два месяца кряду; программа была вчерне подготовлена, но все дело, как всегда, уперлось в формалистику; нужно было получить официальное разрешение на название театра, утвердить Писарева главным режиссером и выбить штатные единицы — директора, администратора и художника; все остальное взяли на себя комсомольцы, даже оркестр и механику сцены.

И вот сейчас, выскочив из такси, Писарев бегом пересек двор, прошел сквозь крошечный вестибюль, задрапированный ситцем так ловко, что казалось — муар или атлас, черт не разберет, — толкнул ногою тугую дверь, обитую войлоком, и оказался на сцене.

Здесь, на табуретках, столах и стульях, на всем небогатом пока еще реквизите, принесенном из домов, устроилась вся труппа: и профессионалы, репетировавшие у Писарева в выходные дни, и студенты театральных институтов, тайно посещавшие его занятия, и самодеятельные артисты.

Было очень тихо; все знали, что решается их судьба; собравшихся освещала маленькая сороковаттная лампа, болтавшаяся под потолком; возле Киры сидел Лаптев, он теперь дневал и ночевал в «театральном складе».

— Ура, — тихо сказал Лаптев, первым увидав Писарева. — Победа, Сань?!

— Но какая! — закричал Писарев.

...Никто так быстро не умеет обживать новое место, как актеры. Чуть еще только наметилась какая-то общность единомышленников, как появляется девушка, влюбленная в искусство, которая может все, только не может играть, и она понимает это, и это не мешает ей

отдавать всю себя людям сцены; она достает стаканы, бумажные цветы, пальто девятнадцатого века, набор люстр, приводит на репетицию известного актера или режиссера, едет к композитору и легко уговаривает его написать музыку — бесплатно, ради нового театра (которого еще нет, но ведь он есть, пойдите, посмотрите, вы должны найти полчаса, машина ждет, нет, конечно, это не машина театра, это брат нашей самодеятельной гитаристки, но он помогает нам постоянно; его хозяин на три часа каждый вечер отпускает); она отправляется к поэтам, и те дарят свои песни; потом она приводит старушку, которая вечно ворчит, бесплатно убирается, моет окна, угощает артистов чаем и сушками, купленными на пенсию; появляется меценат из соседнего овощного ларька и по-царски одаривает труппу гигантскими гидропоническими огурцами и маленькими, крепкими, натуральными помидорами, факирским жестом достает из «дипломата» пару бутылок «лимонной», и начинается пир, какой не доступен сильным мира сего с их черепаховыми бульонами и зимней спаржей с фазаном; возникает женщина (обязательно средних лет, как правило, очень полная, в очках, с виду злая) из районного Дома народного творчества; она приглашает журналистов, писателей, фоторепортеров, рассерженных художников; и возникает понятие дома, а что есть в мире нежнее чувства очага, то есть добровольной человеческой общности?!

...Поэтому, когда стихли аплодисменты (никто так не умеет аплодировать, как актеры), внештатный главный администратор Ирочка принесла три бутылки шампанского, купленные ею на деньги, одолженные у мамы; тетя Аня, пенсионерка из соседнего дома, ставшая внештатной уборщицей, расставила на ящиках из-под апельсинов стаканы, и Писарев подробно, сияя огромными своими глазами, рассказал про то, как его принял Назаров, какой хороший был разговор, какой Назаров сторожкий мужик, себе на уме, но думает славно, не зря, видно, его назначили, не костолом, с ним можно дискутировать, доказывать свою точку зрения; не навязывает решения, предлагает варианты; ждет приглашения на премьеру; вопрос о конституировании театра решится формальным актом в течение двух дней.

— Он утвердил три наших задумки, — продолжал Писарев. — Что касается названия «Веги», то он против, и с ним надо согласиться; Назаров советовал не подставляться под прицельный огонь перестраховщиков, верное соображение. У нас мало времени и много дел, чтобы тратить себя на пустые споры. Сегодня, когда все свершилось, мы должны спросить себя: готовы мы поднять занавес в осеннем сезоне или нет?

— Готовы, — донеслось со всех сторон.

— А я вдруг испугался, — сказал Писарев. — Честное слово! Недавно сидел с Михайловым, он начал работать своего «Дмитрия».



Он рассказывал, как видит главную сцену, определяющую будущий фильм: раннее утро, поле Куликово, трава в капельках росы; угадываются воины, ждущие начала боя, и сквозь эти травы идет мальчик, худенький, черноглазый с блекло-белыми волосиками. Это ведь прекрасно, не правда ли? Контрапункт всей картины заключен в этом простом и, казалось бы, сотню раз нами виденном или представляемом плане. Но мы проходили мимо, а Никита споткнулся на этом, вывел в формулу. Явление не существует отдельно от того, кто заметил его; оно незримо увязано с его душою, и только тот, кто с м о г не только увидеть, но и понять, делается художником. Лев Данин готовится к постановке «Леса». Он говорил мне: «Я еще не знаю всех подробностей, я не умею еще ничего толком объяснить, но мне все время видится сцена в гиацинтах... Они должны внезапно посыпаться сверху, они будут выстреливать, как шутихи... Сначала голая сцена, встречаются Счастливец с Несчастливецым и говорят, как мы с вами, обычно, буднично о тетушке, о том, как бы хорошо поехать к ней в имение, а потом вдруг про и г р ы в а ю т этот же текст традиционно, как мы к тому привыкли — они актеры; а в театре все можно, и я заявляю свое право на это «всесиле сцены». Позиция? Блистательная позиция. Мы начинаем наше «Министерство сердечности» с монолога Хемингуэя. Когда я возвращался от Назарова, мне вдруг стало ясно, что в оформлении мы чего-то не потянули, мы и в ткани слова не до конца точны, мы боимся документа, не верим ему, хотим и документ сыграть, не понимая, что в век информационного взрыва истинная драма не выдумка, а факты биографии человечества. Наша сцена обязана вобрать в себя планету; максимум перспективы; проекция, которая обязана отместить все случайные преграды для чувства. Искусство тем выше, чем больше оно приближается к бесконечности. Софокл бесконечен, как и Шекспир, Мольер, Островский. Наш Грибоедов родился, когда Радищев закончил свое «Путешествие», то есть когда в России утвердились революционная мысль, интеллектуальное бесстрашие, а погиб, когда Пушкин подходил к идее «Медного всадника». Шекспир родился в год смерти Микеланджело, а ушел в добровольное изгнание, когда записал младенца, нареченный Рембрандтом. Шекспир ушел, преодолев статику, он был бесстрашен на площадке, где разыгрывал свои действия; лестница, так лестница, буря в поле, так буря, если так было, если это переживал Лир. Да, действительно, всякая даль страшит человека, ибо она требует преодоления пространства между тобою, актером, и им, зрителем; всякое преодоление трагично и подвластно лишь тому, кто имеет мужество, волю и силу; живописец трагически переживает пространство между его глазами и чистым холстом, он обязан преодолеть его и создать новый мир; близкое угодно людям, оно продиктовано привычным чувствованием, «мне это знакомо, нужно лишь протянуть руку», но разве это искусство, когда близко?! Готовы ли мы к преодолению? Мы рискнули заявить себя как

сообщество новаторов, и это прекрасно, но отдаем ли мы себе до конца отчет в том, какое нам предстоит преодолеть пространство оставшихся до открытия сезона месяцы? — Писарев давно уж слышал, как надрыдается телефон, проведенный в костюмерную стараниями монтера Гарика, занятого в самодеятельном оркестре. Это мешало ему, поэтому он несколько раздраженно обернулся к главному администратору: — Ириша, ну, подойдите же, так говорить трудно...

Ириша бесшумно побежала к телефону, а Писарев продолжал: — Эkleктика, то есть совмещение разностей, не есть нечто антихудожественное, отнюдь. Я чувствую, что нам совершенно необходимы киноустановка и подбор хроники; мы должны смонтировать сюжеты гнева, юмора, надежды, трагедии... Дмитрий Степанов рассказывал, как он в Нью-Йорке попал в дансинг «Сиркус». Это было в годы, когда шла война во Вьетнаме, а в Сан-Франциско началось движение хиппи, «люби, а не воюй». Противопоставление любви войне трагично, потому что беззащитно. В этом «Сиркусе», рассказывал Степанов, были установлены фосфоресцирующие лампы, от которых светились бело-голубым, мертвенным светом нейлоновые рубашки — тогда еще их носили, — а вместо лиц были провалы, только фиксировалась краска на губах, веках, щеках. Парад масок, феерия грима! Молодежь танцевала рок-н-ролл, а на сцене бился в истерике певец, зажигая людей на движение, на подготовку к завершающему акту плотской любви, которая даст усталость и возможность впасть в сладостное забытьё потом, и зал сотрясаясь от этого ритуального движения, но за певцом, на экране, постоянно крутили ролик хроники; самолеты ВВС США бомбят джунгли, поджигают их напалмом; на улицах Сайгона расстреливают молодого партизана, и мозги несчастного выбрызгиваются на асфальт; салон, где делают педикюр собачкам; операция на глазах японки, чтоб сделать их круглыми, то есть модными, безликими, среднеевропейскими; холера в Пакистане... Понимаете меня? Я слушал Степанова, и мне казалось, что я сам нахожусь на этом антиспектакле, который, по существу, и есть истинный спектакль без зрителей — одни участники...

Писарев заметил, что все смотрят в проем за его спиной; оглянулся — тоненькая контурная фигурка Ирочки была там.

— Кто? — спросил Писарев. — Пусть позвонят позже.

— Из милиции, — ответила Ирочка. — Говорят, по срочному делу...

— Подождут, — отрезал Писарев, но вдруг с фотографической, слепящей резкостью увидел лица своих мальчиков, уехавших с матерью в Гагру, и, не говоря более ни слова, бросился вон со сцены...

3

Молоденький капитан подвинул Писареву пепельницу:

— Если хотите курить, — пожалуйста.

— Вы мне, пожалуйста, подтвердите: с мальчиками действительно все в порядке?

— Я же говорил вам: в полнейшем.

— Так отчего же такая срочность?

— Это связано с вашей женой, Лидией Афанасьевной.

— С женой? Несчастье?!

— Да нет... Не то, чтобы... Вы ее подругу Дину знаете?

— Я не знаю ее подруг.

— То есть как?

— Не знаю, и все тут. Вы, пожалуйста, объясните, чем вызван этот вызов... Я б не приехал, право, не нафантазив бог знает что про детей... У меня работа, я бросил людей...

— У меня тоже работа, Александр Игоревич... Итак, Дину Гаврилову вы не знаете?

— Не знаю.

— Какие драгоценности есть у вашей жены?

— Я подарил ей обручальное кольцо; потом — сережки, когда первый сын родился, и браслет, когда появился Васька, младшенький...

— А колье?

— Какое колье?

— Бриллиантовое.

— Не знаю, я, во всяком случае, не дарил.

— Как же так?! Муж — и не знаете?

— Мы живем поврозь уже пять лет.

— Но в одной квартире?

— Мне непонятен предмет разговора... Не имею чести знать вашего имени и отчества...

— Капитан Друзов, Роберт Дмитриевич, уголовный розыск...

— Мне предмет разговора непонятен, Роберт Дмитриевич.

— Объясню... Ваша жена сейчас отдыхает с детьми в Гагре, да?

— Верно.

— Так вот, вчера неизвестный мужчина, — на жаргоне говорят «фармазон», — забрал у Дины Гавриловой бриллиантовое колье вашей жены, оцененное в очень большую, прямо-таки громадную сумму. Из Гагры пришло спецсообщение, мы обязаны разобраться во всем этом деле...

— Фу ты, боже мой! — улыбнулся Писарев. — Слава богу, а я уж черт знает что себе нафантазировал...

Капитан Друзов посмотрел на Писарева с несколько недоверчивым недоумением:

— Неужели вас не удивляет все это дело? Подруга, которую вы не знаете; колье, которое не дарили...

— Пусть бы это было самым большим несчастьем в ее жизни...

— Вы разведены?

— Нет.

— Где вы в настоящее время проживаете?

— На квартире моего товарища, который находится за границей.

— В качестве кого?

— Нет, нет, — снова улыбнулся Писарев, — не эмигрант, упаси бог... Доктор, он работает в Африке, в нашем госпитале.

— Назовите, пожалуйста, его фамилию и адрес квартиры.

— А при чем здесь он?

— Мы будем обязаны опросить всех.

— Ну, так я съеду с его квартиры... Мне вообще этот вопрос непонятен, да и весь разговор какой-то странный...

— Я имею основание задавать вам любые вопросы, Александр Игоревич, так же как и вы обладаете законными гарантиями ни на один мой вопрос не отвечать.

— Это допрос?

— Пока беседа. Не захотите говорить со мною в интересах расследования дела, — придется писать допрос; не станете отвечать — ваше право, будем ковыряться сами, вот и вся недолга...

— Ну, хорошо, я понимаю... Только мне все это в высшей мере, сами понимаете, неприятно; точнее говоря, горько... Лида — очень хороший человек, добрый, но мы... Словом, как ни клеили, не склеилось... Фактически мы не живем вместе лет уж как семь, но уехал я из своей квартиры пять лет назад... Разводиться не мог. Да и, в общем, мне это не надо, если только ей... Семей обзаводиться я не собираюсь, у меня работа и дети да еще друзья... Младший мой, Васька, ужасно любит мать, очень болезненно переживает, что мы поврозь живем, так что приходится поддерживать ради него какую-то видимость семьи — мол, поссорились, помиримся; о разводе не может быть и речи, пока он не вырастет, грозился сбежать, если это случится...

— Сколько вы даете денег семье?

— Половину зарплаты... Половину всего, что зарабатываю: на радио, в институте — я там веду курс, в кино... Много плачу, с избытком хватает...

— А зачем же было продавать колье?

— Откуда я знаю...

— У вашей же... у Лидии Афанасьевны есть какой-нибудь друг?

— Об этом говорить не будем.  
— Но откуда же у нее это кольцо?  
— Не знаю. И не хочу знать.  
— Лидия Афанасьевна сказала, что кольцо ей подарил дедушка.  
— Лев Дмитриевич? Наверняка. Сам академик, и отец был академиком, и дедушка... Наверняка у них есть фамильные драгоценности...

— Вы не видели?  
— Я ж не на драгоценностях женился, а на Лиде... Да вы Льва Дмитриевича спросите...

— Лидия Афанасьевна не хочет, чтобы спрашивали деда, она говорит, что это может его травмировать, а он только недавно перенес третий инфаркт...

— Верно. Золотой старик. Его надо побережь. Но если Лида говорит, что это кольцо — подарок деда, можете ей верить, так, значит, и есть.

— Если вы достаточно платите семье, зачем ей надо было продавать это кольцо? Почему именно на юге? Отчего через подругу?

— Не знаю.

— А вот она показала, что ей нечем было отдать долги...

— Это ее дело.

Капитан Друзов пожал плечами, подвинул Писареву стопку бумаги:

— Напишите объяснение.

— Какое?

— По поводу этого дела.

— А что я должен писать?

— То, что сказали мне: подругу не видали, какие долги — не знаете, кольцо не дарили, дедушка — мог... Захотите добавить, что, может, как-то помочь нам в поиске похищенного — буду благодарен... Вы ведь тоже формально потерпевший. Прописаны в одной квартире, не разведены, муж и жена...

— Одна сатана, — добавил Писарев, внимательно оглядев капитана, его ладно кроенную фигуру и аккуратно подогнанную форму. — Я понимаю, как вам противно копать во всем этом дерьме, в нашем дерьме, добавил бы я...

— Каждому свое, — вздохнул Друзов.

...Прочитав объяснение Писарева, капитан отметил пропуск и, провожая к выходу, поинтересовался: над чем сейчас работаете?

— Да много всего... Театр собираемся новый открывать, сразу три представления работаем.

— Новый театр? Думаете, количество перейдет в качество?

— Изверились?

— Есть маленько. Как куда в театр ни пойдешь — всюду вливают новое вино в старые мехи. Навязывают Мольеру и Шекспиру

с Чеховым проблемы, которые тем и не снились... Думают, человечество не изменилось... Уж если такое философское понятие, как «скорость», вздыбли, себе подчинили, пространство преодолели, так неужто человек поры Шекспира во всем подобен нынешнему? Огораживаться в наш век — глупо, если не смешно...

— Огораживаться? Это как?

— Это пытаться огородить себя от прогресса. Пусть, мол, все движется, а мы какими были, такими и останемся.

— Мы как раз об этом и хотим сделать спектакль «Урок политеса» будет называться.

— Кто автор?

— Дмитрий Степанов.

— Любопытно. Ну, всего вам хорошего. Если что вспомните, позвоните.

— Хорошо, если вспомню, позвоню. Только вряд ли что вспомню, право.

...Подполковник Хорошилов, прочитав объяснение Писарева, поднял глаза на Друзова; тот покачал головою:

— Он действительно ничего не знает... А если б и знал, то не сказал бы...

— Повесили на нас дельце, пойдн отыщи этого мошенника... А почему Писарева отдала колье Дине этой самой? Отчего в комиссионный не понесла?

— В комиссионном сказали, что слишком дорогое колье, долго будет ждать покупателя, а за хранение какие-то проценты берут... Дине отдала оттого, что носит фамилию мужа; говорит, мол, не хотела, чтоб был излишний интерес к его имени.

— Что он, Высоцкий, что ль! Или Райкин? Диной этой самой занялись?

— Конечно.

— Попусту его не тревожьте, они ведь обидчивые больно, эти артисты с режиссерами, у каждого — покровителей тьма, самого высокого ранга... Запросите на Дину и всех знакомых Писаревой характеристики...

— А на него?

— Дело есть дело, надо соблюдать форму. Справочку мне напишите, чтоб я толком начальству доложил, у меня в пять рапорт. Успеете?

— Схематично — да.

— Так вы иначе как схематично пока ничего и написать не сможете, как ни бейтесь... Месяцев восемь — в лучшем случае — придется ковырять эту кучу... Вот бабы, а?! Особливо избалованные... Им бы белье постирать да полы помыть по квартирам, чтоб устатку поболе... А как этот Писарев? Не фордыбачил?

— Нет, — ответил Друзов, чуть помедлив поначалу. — Достоино себя вел.

...В кабинете кадровика управления, когда раздался звонок капитана Друзова, как раз и находился главный консультант управления, кандидат искусствоведения Василий Груцин, готовивший по поручению руководства справку на Писарева и его коллектив...

Груцин не просто не любил Писарева; он болезненно, до темноты в глазах ненавидел его.

Поначалу в институте они были друзьями, особенно на первых двух курсах; высокий, очень спортивный Василий и Санька, квадратный, словно обрубок, с перебитым в драке носом, растолстевший после того, как врачи запретили ему заниматься боксом после третьего по счету нокаута.

Санька был всегда влюблен в своих друзей, очень ими гордился, выставлял их вперед: «Василий Груцин — грандиозный режиссер, он наделен даром, он впереди всех нас, мы ему в подметки не годимся», «Митя Степанов — великий репортер, я убежден, что после института он делается звездой» (имя Михаила Кольцова тогда еще не произносилось вслух), «Левон Кочарян — самый замечательный парень, какой только есть, он вообще гений, он всесторонен, а его главный талант — быть другом».

Санька всегда помнил, как на дне рождения у Льва Меломанова в Покровском-Стрешневе отец произнес тост:

— Молодой грузин, гуляя по развалинам старинной крепости, забрел на кладбище. Тишина там была, только сухо стрекотали кузнечики и налетал порою сухой, горячий ветер. Молодой грузин ходил среди надгробий и читал надписи. На одном камне выбито: «Шота, родился в тысяча восьмисотом году, умер в восемьсот девяностом, жил на земле двенадцать месяцев». На другом: «Серго, родился в восемьсот десятом, умер в восемьсот тридцать шестом, жил двадцать шесть лет». На третьем: «Акакий, родился в восемьсот пятом, умер в девятисотом, жил на земле пять месяцев». Повстречался молодому грузину старый пастух, и обратился юноша к деду с вопросом: «Ответь мне, уважаемый, отчего такие странные надписи на здешних надгробиях? Человек прожил чуть что не сто лет, а написано всего пять месяцев?» Старик ответил: «Юноша, в нашем крае возраст человека определялся не по тому, сколько лет он провел на земле, а по тем мгновениям, что он отдал дружбе». Так выпьем же за дружбу, Левушка и Сережа Новиков!

Санька долго раздумывал над отцовским тостом, а потом однажды сказал:

— Па, а все равно не выходит...

Отец удивился:

— О чем ты?

— Помнишь, ты про грузин рассказывал, которые дружат?

— А как же.

— Так вот, не мог Серго прожить двадцать шесть лет.

— Почему?

— А спать-то он должен был? Во сне ведь нельзя дружить!

— Можно, сын. Если ты ложишься спать, зная, что есть у тебя друзья, то и во сне ты будешь с ними и проснешься счастливым.

Санька ужасно тосковал, когда видел, что в команде что-то не складывалось; Митя Степанов не любил Василия Грущина, подтрунивал над ним постоянно, как-то сказал: «Вася, знаешь, на кого ты похож? Ты похож на Мартынова». «Ничего подобного,— ответил Грущин.— Мартынов — крепкий, приземистый, резкий, груболицый, чисто тамбовский тип лица». «Да я ж не о поэте говорю,— усмехнулся Митя,— я о том Мартынове, который Лермонтова убил».

Ответь бы ему Василий что-нибудь резкое, и все бы обошлось, мало ли, неудачная шутка, с кем не случается, но быстро реагировать Грущин не умел; он зато умел тяжело, глубинно обижаться; таил гнев в себе, думал, как отомстить, придумать не мог, оттого злился, и не только на Степанова, но и на Левона и на Саньку: отчего промолчали? Зачем не ответили?

Он не знал, как Санька, провозжая Левона и Степанова в общежитие, корил Митю:

— Разве можно так? Ведь это действительно обидно. Трудно тебе было обернуть все на шутку? Васька знаешь какой ранимый? Придумай что-нибудь, как все это уладить, Митяй, так нельзя, честное слово. Вася даже побледнел, ты не заметил, а у меня все внутри застыло.

— Ты почему его не любишь, Митяй? — спросил тогда Левон.— Может, ты что-то знаешь и не хочешь сказать нам?

— Не люблю — это точно,— согласился Митька.— А почему — не знаю. Чувствую я и ничего с собою не могу поделатъ, чувствую.

— Ты не прав, Мить,— сказал Писарев.— Это все как-то нехорошо. Ты не прав.... Пусть девушки чувствуют, мы, мужики, должны сначала думать, но перед тем как сказать жестокое, если это правда, все-таки нужно хотя бы пару раз провести языком по небу.

Но Митька, к сожалению, был прав. Он всегда оказывался правым.

Недавно он сказал Писареву: «Знаешь, Сань, литератор, если, конечно, он литератор, а не слагатель слов во фразы, а фразы во книги не про человек, а про то, как лучше модернизировать фабрику или наладить уборку озимых раньше срока, обязательно чувствует все кожей, ладонями, что ли. Меня недавно скрутил радикулит, встать не мог. Кирилл Симонян приезжал, ничего не смог сделать; тогда Саша Горбовский привез Владимира Ивановича, инженера по нефтепроводам. Тот перевернул меня на живот, приказал расслабиться, замер надо мной, и я минут через пять ощутил блоки тепла на позвоночнике, возле копчика. Так было недолго, но мне показалось, что я уснул.



Владимир Иванович между тем тронул меня за плечо и сказал: «Вставайте». Я рассердился: «Двинуться не могу, а — вставайте». «Вы здоровы, встаньте, попробуйте, во всяком случае». И я, несмотря на страх, что снова проколет дикая боль, пошевелился. Боли не было. Я встал. Боли не было. Вышел в комнату, где сидел Вася Романов. Боли не было. Спросил, можно ли выпить по этому поводу. Владимир Иванович ответил: «Не только можно, но и нужно, тем более что я беру гонорар коньяком». Симонян сказал: «Нельзя пить, снова начнется боль, да и вообще все это похоже на гипноз». «Гипноз так гипноз, — ответил Владимир Иванович. — Я ведь ничего не прошу, я просто помогаю человеку, чтобы не было боли. Пить можно. Боли не будет». Вася Романов сказал: «Хочу подтверждения эксперимента!» Владимир Иванович ответил: «Пожалуйста. Поднимитесь, отойдите в угол, выставьте перед собою руки и честно отвечайте на мои вопросы». Вася поднялся, отошел в угол; напротив него встал Владимир Иванович, протянул руки и нацелился своими ладонями на Васины. И так они стояли минуту-две. А потом Владимир Иванович спросил: «Что вы ощущаете?» И Вася честно ответил: «Жжение в ладонях». Владимир Иванович обернулся к Симоняну: «Я могу в вашу честь, как представителя консервативной медицины, поставить диагноз моему визави?» «Извольте», — хмыкнул Симонян. Владимир Иванович снова вытянул руки перед собою, и навел ладони, словно локаторы, на Васю, и начал медленно водить ими, повторяя контуры Васиного тела. А потом сказал: «Я чувствую металл, под ребрами, слева, ниже сердца... Не отвечайте мне пока что, не перебивайте меня... Я ощущаю нечто чужеродное правее печени, в желудке, нет, в кишечнике, слепое утолщение, оно неопасно...» Вася не утерпел, победно глянул на Симоняна и изрек: «Ладонный рентгенолог установил абсолютно точно: правее печени у меня киста, доброкачественная, как говорят консерваторы; под сердцем — осколок, удалять опасно, ношу свинец войны с гордостью. Владимир Иванович, я поражен и восхищен. Откройте ваш секрет!» А тот ответил: «Никакого секрета. Просто я настраиваюсь на вас, я ответствен за свое чувствование и, таким образом, за слово». Митя, рассказывая об этом Писареву, был грустен, лоб резала резкая морщина. «Писатель, — повторил он тогда, — если он писатель, обязан чувствовать человека, ситуацию, возможность, грядущее, прошлое. Ладонями. Всей кожей. Мясом, если кожу содрали. До последнего дыхания. И никак иначе».

Степанов почувствовал Василия Грущина первым, хотя тот ценил Митьку, старался, как мог, услужить ему, дважды просил помочь написать сцену к первой самостоятельной постановке, но Митька ему помогать не стал, сидел с Саней, готовили композицию по мотивам «Романтиков» Паустовского. Вообще-то на курсе Василий Грущин был первым поначалу: всем преподавателям импонировала его манера неторопливой раздумчивости; память у него была феноменальной, мог

читать наизусть чуть что не страницы пьес; великолепно отвечал по всем общественным дисциплинам; на первом семестре сдал за весь институт немецкий и попросил себе факультативный английский; работал в лекторской группе; очень потел, когда выступал на незнакомой аудитории, причем потеть начинал с кончика носа; правда, он ловко придумал себе чисто актерское приспособление — вроде бы поправлял очки, а на самом деле утирал капельку небрежным жестом левой руки... А Санька еле тянул от сессии к сессии; пропадал со Степановым и Леоном в танцзале «Спорт», единственном тогда в Москве, упоенно танцуя танго «Нинон» со спортивными «чувихами»; после каждого заработка (они калымили втроем на Киевском вокзале ночными грузчиками на товарной станции) принимал участие в «процессах», которые чаще всего происходили в бывшем ресторане «Аврора», что на Петровских линиях; неделями ездили на подмосковных поездах, чтобы записать песни инвалидов, собиравших милостыню...

Василий показал сцену из «Бесприданницы». Он раз двадцать ходил в кинотеатр «Повторного фильма», когда там показывали протазановскую ленту; его актеры абсолютно точно скопировали интонации Кторова и Алисовой, но ведь копия хороша, если только она авторская...

Преподаватели недоуменно переглядывались; Грушин показал и что, поделку. А Санькиных «Романтиков» приняли на «ура» и предложили обкатать композицию в колхозных аудиториях Подмосковья. Это было прекрасное лето, когда Санька, Митяй, Лена Шубина и Юра Холодов бродяжничали на попутных грузовиках, ночевали в маленьких домиках сельских школ, свернувшись калачиками на полу, а по вечерам давали представление на открытых площадках, и не было в жизни более благодарных зрителей, чем тогдашние беспаспортные, без права выезда в город колхозники, все больше женщины, дети да инвалиды, пятьдесят третий год, восемь лет всего как кончилась война...

А на втором курсе Митяй написал Саньке композицию по «Лейтенанту Шмидту» Пастернака. И Санька, несмотря ни на что, стал сталинским стипендиатом. А Василий показал отрывок из «Югославской трагедии» Мальцева, и ему поставили тройку. Было обсуждение показов; Санька утешал Грушина, говорил ему, что хорошее начало, как правило, оборачивается дурным концом. «Ты меня задавишь на третьем курсе; хочешь следующую постановку сделаем вдвоем?» — Василий докурил сигарету, жадно затянулся напоследок и ответил: «Что ж, спасибо, подумаю». Они вошли в зал, и первым на трибуну поднялся Василий.

— Думаю, все согласятся со мною: у нас определился лидер, и этого лидера зовут Александр Писарев. Его постановка, бесспорно, самая интересная, именно потому я и хочу поделиться с вами своей

тревогой за будущее нашего товарища, которого все мы успели полюбить за те полтора года, что вместе учимся в стенах нашего замечательного института, ставшего для нас родным домом. Постановка Сани, повторяю, талантлива, но ведь она вся... как бы не обидно выразиться... она вся формальна, в ней налицо рациональность, расчет, в ней нет изначально чувства, все выверено, как в математике... Разве это типично для нашего искусства? И оформление какое-то современное, будто не в Москве придумано, а далеко на Западе. А ведь там художнику приходится фигурничать, чтобы заманить зрителя, ошеломить его и на этом сделаться заметным... Разве нам это нужно? Разве наш зритель этого ждет? Когда я смотрел постановку, я забыл о Шмидте, товарищи, я только ждал, чем Саша еще ошеломит нас? Чем? Саня, не сердись, Платон мне друг, но истина дороже! Ведь когда ты показывал свою работу, ты не о лейтенанте Шмидте думал, а о себе как режиссере! Ты стал им — для меня, во всяком случае... Но ты им останешься навсегда и для всех, если будешь сначала думать о герое, а потом уже о себе... Не сердись, Саня...

Писарев сидел, глупо улыбаясь, не в силах понять, что случилось. За него заступались студенты; профессор смотрел на своих питомцев влюбленно; когда страсти накалились, бросил с места:

— Так сказать, мне нравится все это! Молодец Писарев, и Грущин тоже молодец! Сшибка мнений рождает, так сказать, атмосферу творчества! Но в споре не надо использовать бланки обвинительного заключения! Истинную принципиальность отличают широта взгляда, терпимость и доброжелательство! К барьеру, Писарев! Я хочу посмотреть, сколь вы сильны и доказательны в диспуте! Я намерен послушать, как вы умеете защищать свое искусство!

Писарев тогда поднялся, долго молчал, хотел было говорить о том, что он понимает под термином «формализм», думал рассказать о Шостаковиче, Таирове, Кончаловском и Прокофьеве, которых корили этим самым формализмом, но потом неожиданно для себя повернулся к Грущину и сказал:

— А ты, знаешь ли, большая подлюга.

— Значица сказа, — рассмеялся профессор, точно сыграв свое понимание слов Писарева, как актерскую, хорошо поставленную шутку, — не довод! Не довод!

— Есть и довод, — ответил Писарев. — Я только сейчас понял, что такое зависть. Это когда один человек не может осуществить свой замысел, а другой может. Такое не прощают. И человека пепелит изнутри, он кончен, и ничто его не спасет, он пропал для людей...

...Дослушав разговор кадровика с капитаном Друзовым, консультант управления Василий Грущин легко пробросил:

— Вы б порасспросили, что случилось... Саня Писарев — мой

институтский знакомец, он горяч и крут; когда его исключили из комсомола и института за неправильное поведение как комсорга, он такое натворил... Мы его с трудом спасли от ба-альшой беды... Сейчас его думали двигать на главрежа... Надо вовремя во всем разобраться... И, с другой стороны, талант не убережем — отвечать придется не перед кем-нибудь, перед собственной совестью...

А вернувшись к себе, он снял трубку телефона, набрал номер и сказал:

— Игорек, ты позвони завтра нашему кадровику, попроси его навести справки о том периоде, когда Саньку Писарева подставил его директор, Киреев, помнишь, этот деляга сгорел на левых концертах? Я готовлю для Саньки сюрприз, его двигают вверх, так что надо парня прикрыть, если кто-нибудь решит копать его белье... Да как не помнишь?! Это было в пятьдесят девятом, когда Киреев возил их группу на Абакан—Тайшет, его потом посадили за махинации на два года, а Санька год отмывался за чужие грехи... Пусть наш дед перепроверит, не висит ли еще что на нем; вовремя отбить товарища — святое дело... Да... Именно... Только на меня не ссылайся, все ж знают, что мы однокурсники, рука руку моет, и все такое прочее... Да... Когда поужинаем? Нет, завтра закрыт... Давай в пятницу, святой день, в субботу похмелиться можно!

#### 4

Писарев проснулся ровно в шесть, будто кто потряс его за плечо. Он проснулся счастливым, потому что ему показали хороший сон; это было у него четыре раза, когда он видел именно этот сон, и он считал это счастливым знамением, особенно еще потому, что сегодня было тринадцатое, а цифра эта была для него добрым знаком.

Ему виделось, как по васильковому лугу (от того, что в него было вкраплено несколько белых ромашек, синее было явственным, близким, слышимым, особенно когда налетал ветер, — он был теплым, пахло полынью) бежали Васька и Димка. Они были маленькими еще; в руках у Василька был змей; Писарев не умел делать змей, только помнил, как отец мастерил ему эти штуки, и еще он помнил ощущение прерванного дыхания, когда змей взмахнул из папиных рук в небо и затрепетал в белом знойном небе, и вокруг него метались черные тире ласточек, которые приняли этого воздушного змея за большую, беззловонную птицу, умеющую радоваться солнцу так же, как и они сами.

И каждый раз, когда Писареву показывали этот сон, он просыпался с ощущением счастья оттого, что научился мастерить змея, что отныне, что бы с ним ни случилось, он сможет дарить детям радость: на прозрачную бумагу, клей и палочки много денег не надо, даже если лишат телеэкрана и кино, зарплаты в театре хватит, ставку актерам повысили, сто семьдесят в месяц, чуть что не персоналка...

И действительно, каждый раз после того, как Писарев видел этот сон, его ждала удача.

Он потянулся за сигаретой, продолжая улыбаться, но потом вспомнил вчерашний вечер, когда вернулся в театр, и там уже никого не было, и он заказал разговор с Прокопьевыми в Гагре (у них всегда останавливалась Лида с мальчиками), и услышал глухой Лидин голос, и сразу же представил себе ее заплаканное лицо, он до сих пор очень любил ее лицо, потому что все в ней изменилось, кроме лица, и поначалу долго не мог понять ее, потому что она повторяла одно и то же:

— Господи боже мой, господи, ну, за что же, боже ты мой, за что?!

Он подавил в себе желание объяснить ей, отчего все это случилось, он понял, что этого сейчас нельзя говорить, и не оттого, что не всякая правда нужна человеку, пожалуй, что все ж таки всякая, только нужно точно знать время, угодное для того, чтобы ее открывать.

— Лида, не надо,— сказал он мягко.— Возьми себя в руки и объясни, что случилось. Меня вызывали в милицию, что-то рассказали, но я до сих пор не могу толком понять...

— Что ты не можешь понять?! Ну, что ты не можешь понять?! Я не хотела зависеть от тебя, ясно?! А мальчики очень тебя любят. И они хотят, чтобы ты с ними какое-то время жил в Москве в квартире! А куда мне деваться? Я мечтала купить себе половину какой-нибудь дачи, чтоб уезжать туда и быть там, не понятно разве?! Они сказали, что уйдут из дома, если я решу устроить свою жизнь! Отцам можно все, только матерям ничего нельзя!

— Лида...

— Что Лида?! Ну, что?! Дед подарил мне это кольцо, разве не понятно?! И это была моя надежда, единственная надежда! Мне сорок семь, жизнь прожита, у тебя дело, а у меня было одно дело — растить мальчиков, а теперь они выросли, и им нужен ты, а что ж мне теперь делать?! Что?!

— Лида...

— Что Лида?! Что?!

— Эту штуку найдут, только ты не плачь, не рви сердце мальчикам...

— А мне можно?!

— Лида, не надо так... Я готов тебе помочь, чем только могу... Я завтра поговорю с Митей Степановым, у него много друзей в уголовном розыске, он позвонит, я обещаю тебе... Лида, пусть это будет самым большим горем в твоей жизни... Мальчики здоровы, это ведь главное. Представь себе только, если бы что-нибудь случилось с Васькой или Димкой, ты только представь себе на минуту...

Лида перестала плакать, долго сморкалась, потом спросила:

— Кому будет звонить Митька?

— Генералу Усову,— солгал Писарев,— это самый большой человек в розыске. Он завтра едет к нему с утра...

— Ты объясни Митьке, что я отдала эту проклятую штуку моей подруге, оттого что в магазине не брали на комиссию, только оценили...

— Неужели ты не могла откладывать каждый месяц из тех денег, что я тебе давал, на эту самую дачу?

— Ты на рынок ходишь? Так сходи посмотри, сколько стоит зелень! И позвони по объявлениям в газете, спроси, сколько стоит дача! Откладывая, я б ее смогла купить в девяносто лет!

Писарев засмеялся и услышал, что Лида тоже смеется сквозь слезы; на сердце у него полегчало; он увидел ее очень явственно, и сердце его сдавила жалость.

— Как у тебя с деньгами? — спросил он. — Что-нибудь осталось?

— Я одолжила у Любы.

— Сколько?

— Двести.

— Я достану... Я вышлю тебе телеграфом сегодня же... Дай мне, пожалуйста, мальчиков.

Они, видимо, стояли рядом с матерью, потому что он сразу же услышал Васькин голос:

— Пася, ну как ты?

— Прекрасно, Вася! Мне дали театр!

— Да ну?!

— Честное слово!

— Значит, ты теперь худрук и главный режиссер?

— Выходит, так...

— И будешь ставить, что придумали?

— Да.

— Поздравляю, пася... А у мамы, видишь, что вышло...

— Как это произошло?

— Дине куклу сунули... Сверху деньги, а внутри бумага... Ты поможешь маме?

«Он считает, что я все могу,— подумал Писарев.— Но я ведь тоже считал папу всемогущим. Потому у отцов и рвутся сердца, что они не могут выполнить все желания детей».

— Конечно, помогу, Вась... Только ты объясни маме, что это быстро не делается... Милиция должна работать постепенно, чтобы не спугнуть вора... Это вопрос месяцев, а не дней... Постарайся успокоить маму...

— Хорошо, пася... Как ты себя чувствуешь?

— Прекрасно. Димка далеко не плавает?

— Я не позволяю...

— Он рядом?

Димка очень любил мать, к отцу относился особо, с каким-то не-детским интересом; ревновал ко всем актрисам; больше всего любил

животных, кормил всех собак и кошек во дворе, подбирал на улицах больных голубей, приносил их домой, лечил, потом отпускал; ворона, у которой было перебито крыло, прилетала потом на балкон месяца два кряду.

— Алё,— услышал Писарев писклявый Димкин голос и представил его себе — толстого, конопатого, голубоглазого, маленького еще, а потому принадлежащего ему телесно; потного, пахнет детством, если прижаться лицом к его шее; мальчик не любил этого, стыдился, можно было целовать его только когда спал; Вася утешал отца: «Это пройдет, пася, я был таким же, правда, у него возраст такой, он только за маму боится, ты для него мужчина, он считает, что ты сильный, поэтому он и не беспокоится о тебе»...

— Димуля, как ты?

— Знаешь, у Джульки, соседской собаки, щенки открыли глаза на десятый день, это невероятно, я веду наблюдение, правда, не начал еще записывать в тетрадку, дядя Коля сказал, что катранов в море больше нет, но и барабуля тоже отчего-то перевелась, а в горах уже пошли грибы, дядя Коля обещал отвезти на мотоцикле, у него теперь «Ява» с коляской...

Он всегда выпаливал новости через запятую, словно боясь, что отец задаст вопрос, главный для него вопрос, и на него надо будет однозначно ответить...

Поди ж ты, пятнадцать лет, а уже выработал стратегию защиты от вопроса про развод, которого не по-детски страшился, не хотел про это слышать, заранее отталкивал от себя придуманной самообороной...

Потом снова трубку взяла Лида, попросила прислать не двести, а триста рублей, и это — как ни странно — успокоило Писарева: все вернулось на круги своя; конечно, пришлет, как не прислать... Да, конечно, попросит Митьку поторопить, да, убежден, что найдут, главное, чтоб все было хорошо у мальчишек, да, перезвонит...

Писарев вздохнул, поднялся с дивана, пошел в ванную, долго чистил зубы, потом надел тренировочный костюм, который устроил ему Волода из спортмагазина, прекрасно гонит пот, очень теплый, чуть что не до ноября можно бегать, и отправился трусить от инфаркта... (В Одессе он снял в одном из подъездов табличку: «Трусить в подъездах воспрещается». Бабеля нет, а жаргон остался. Митька рассказывал, что в Японии известный переводчик, «знаток» русского, в одной из наших книг объявление «сорить воспрещается», вывешенное на танцплощадке, перетолмачил как «драться нельзя». Все очень просто, объяснил Митяй, «сорить» показалось японцу производным от слова «ссора»; а наш Пастернак, чтобы найти истинное значение пустячного слова (впрочем есть ли такие?!), перелопачивал все британские словари и литературу по Шекспиру, чтобы только понять истинный смысл, вложенный великим англичанином в эти стро-

ки, ибо коль слово само по себе безжизненно, то оно делается взрывоопасным, когда соседствует с другими словами.)

На улицах было пусто еще; только метро пульсирующе выбрасывало людей, которые работали в Боткинской; они начинали в семь и шли через скверик возле Беговой; Писарев ужасался тому, как много мужчин курило на ходу, чаще всего «гвоздики»; раньше эти папиросы называли «Норд», потом переименовали на «Север» — в то как раз время, когда в футболе старались избегать слова «тайм», и вместо этого Вадим Сняевский, самый наш великий комментатор, говорил «период», очень, конечно, русское слово, не то что космополитический «тайм»; тогда нельзя было говорить «форвард», только «нападающий»; только никак не могли придумать, чем заменить в боксе «брэк»; одно время пытались привить «разойтись!», но это звучало, словно в фильмах про то, как царские жандармы разгоняли рабочие демонстрации.

...Воздух был р а н н и м, только в Москве бывает такой особый воздух в начале июля; когда Писарев пробегал мимо пешеходов, он особенно остро ощущал сухую горечь табака и думал, какая же это гадость, курево, и клялся себе каждый раз, что с сегодняшнего дня завяжет, но возвращался в квартиру, залезал под душ, растирался докрасна шершавым полотенцем, ставил себе кофе, засыпал овсянку в кипящую воду, завтракал и, составляя план дня, машинально закуривал, испытывая при этом острое чувство счастья и безвозрастности; раз курю — значит, еще не старый, все впереди...

Когда на висках и на лбу появился пот, Писарев отчего-то представил себя бегуном на дальнюю дистанцию — он еще не потерял способности видеть себя со стороны — и потрусил быстрее, а потом вдруг вспомнил, что завтра можно звонить Кириллу Владимировичу, а послезавтра придет приказ из управления, и звенящая легкость родилась в нем, и он высоко подпрыгнул, вытянув над собою руку, и дотронулся до холодного кленового листа, и подумал, что, только если человек не разучился верить и радоваться, он может прыгать, несмотря на то, что ему сорок восемь.

«В «Уроке политеса», — подумал он, — сцена должна быть забита актерами. Каждый человек, а еще лучше каждая пара обязаны быть поначалу разобщенными; движения всех — при определенной пластике пар — вызовут ощущение хаоса. Организация гармонии, которая совсем не идентична понятию «порядок», станет тем фоном, на котором можно разыграть действие о традициях и новациях, о высоком смысле «пропорции», которая вовсе не обязательно берет свой отсчет из геометрии... Весь задник сцены должен быть организован узнаваемыми плакатами и объявлениями: «запрещено рвать цветы», «не разрешается ходить по газонам», «нельзя», «запрещено», «нет», «нет», «нет». Сколько еще таких объявлений, бог ты мой! И какая поразительная изобретательность, когда дело



касается того, чтобы не позволить?! Наш спектакль — бой этому бессердечию, порочащему величие наших идеалов. А какими должны быть костюмы? Каждая культура смогла, точнее, была обязана сформировать свою собственную науку; этика — одна из ключевых позиций знания... Как не угодно проникновение этики в повседневность; тогда объявления могли бы звучать иначе: «Спасибо, что вы не пошли по клумбе» или «Цветам тоже больно!». Костюмы актеров обязаны нести громадную идейную нагрузку, их можно трактовать как наскальную живопись: не раз и навсегда, в случае атомного ужаса, — а так, как было раньше, в чреде веков, когда творчество угасало, ибо исчезновение данной, конкретной культуры есть исчезновение создающего ее творческого элемента: в моменты пика символ и суть соединяются воедино; в години спада остаются схемы, царствует безжизненность... Кто же сможет нарисовать нам эскизы декораций и костюмов так, чтобы через них проследить закономерность развития? Надо разбить сцену на две половины... Антика, царство обнаженной натуры, философия статики, ясности, близости; и устремленность нашей культуры, нетерпеливый рывок в науку, то есть превращение бесконечности в конечность, подход к венцу знания. И это — через костюм и задник сцены. Как? Не знаешь, Писарев, еще не знаешь...»

Он посмотрел на часы. Восемь. Степанов наверняка спит. Его вчера не было до двух. Пьет димедрол, вот счастливец, такое легкое снотворное... А вдруг сегодня вскочит раньше обычного и унесется?

«Надо придумать одну из декораций так, чтобы это была огромная доска в университетской аудитории. Пусть будет слышно, как крошится мелок, когда академик пишет формулы. Кадр в кино только тогда кадр, когда в нем работает и первый план и пятый. Доска с формулами не просто формальный изыск... Если бы уговорить академика выйти на мизансцену и начать диалог с поэтом или режиссером?.. Экспромт, как выражение таланта... Стихи Пушкина в альбомах... Талант расточителен, суверенен и сам назначает себе цену...»

Пробегаая мимо длинного барака, где обосновалось строительно-монтажное управление, Писарев увидел возле двери бачок для питьевой воды; кружка была прикована к нему металлической цепью. В каждом хозяйственном магазине таких кружек полным-полно, и красная им цена сорок копеек.

«Можно было бы при нашей любви к объявлениям вывесить табличку: «Спасибо, что вы не вор», — подумал Писарев. — Впрочем, этично ли это? А с другой стороны, если каждый день какой-нибудь скот будет эту кружку уносить, начальнику придется платить из своего кармана рублей пятнадцать в месяц, все-таки деньги. А еще хуже, если станут вычитать деньги у уборщицы; хоть им позволяют совместительство, на трех работах некоторые вкалывают, больше

инженера или врача получают, но ведь пол мести и окурки собирать не сахар... Вообще объявление может быть либо злобным надсмотрщиком, либо добрым воспитателем, наделенным чувством юмора... Разумное «можно» больше способствует воспитанию человека в человеке, нежели чем слепое и постоянное «нельзя»... Мы постоянно говорим про культуру поведения, а хамство тем не менее не убывает... Значит, неубедительно говорим... Надо опереться на науку и провести ряд бесед по телевидению, в которых бы ученые, в первую голову медики, доказали людям, что улыбка способствует продлению жизни, а хамство, резкость, рывканье делают больным истериком не только тех, кого обижают, но и того, кто лает вместо того, чтобы говорить... Надо использовать такое человеческое качество, как зависть: отчего у американцев во всех учреждениях на столе стоят таблички «смайл» — «улыбайся»? А оттого, надобно доказать с цифрами в руках, что хитрые американцы просчитали прямую выгоду для здоровья людей, следовательно, для богатства общества, они без выгоды ничего не делают, прагматики бездуховные, все на денгу переводят»...

Навстречу Писареву шла девушка: видимо, она приехала не на метро, очередной пульсации пассажиров еще не было; она шла быстро, на тоненьких каблучках, стройная, словно козочка; Степанов свою дочку Дуню называет «Бемби», круглоглазая и стройненькая.

Писарев поймал себя на том, что прибавил шагу и поднял плечи, чтобы казаться более спортивным; девушка, словно бы поняв его, улыбнулась. «А что, — подумал Писарев, — Татьяна говорила, что нынешние девушки к мужикам моего возраста относятся лучше, чем к сверстникам, те, говорила она, какие-то маниловы, нет борцовских качеств, хотя мускулы накачали, будто тарзаны; даже чахоточный, если он борец духом, более привлекателен для женщины, чем избалованный атлет...»

- Алло, Митяй, ты спишь?
- Уже нет.
- Слушай, мне театр дали...
- Нет...
- Клянусь!
- Почему сразу не позвонил?
- Тебя до двух не было.
- А в три не мог?
- В три я спал.
- А я только начал заниматься любовью.
- Так уж светло было...
- Темнота — друг молодежи, а мы ж с тобой старики, доживаем последнее... Подожди, дай я закурю... Ты был в управлении?
- Да. Первый заместитель принял, Назаров... Завтра надо звонить, передадут приказ...
- Поздравляю, главный режиссер!

- Поздравляю, член худсовета...
- Уволь, я уж и так в двух числюсь.
- У меня будешь работать, а не числиться...
- Посмотрим.
- Слушай, приезжай в театр к десяти.
- Не могу, Сань. Я веду своего режиссера, гада, в бассейн «Москву». Подъезжай, а? Будем как римляне, все там и обсудим.
- Приеду. А потом ко мне, да?
- Решим.

Писарев опустил трубку и только тогда вспомнил: о Лидином деле так и не сказал; ничего, в бассейне расскажу, да и потом, что Митька может? Ну, переговорит с кем, ну, попросит помочь, а разве и так не помогают? Капитан этот прекрасный парень, только в России есть такие прозрачные люди, когда сам получает двести, и нет в нем ненависти к тому, кто имеет в двадцать раз больше, страдает, будто сам зарплату потерял... Конечно, деньги огромные, только эта потеря ничто в сравнении с той, когда дядя Алик потерял в сорок втором карточки на всю семью... Где было достать продуктовые карточки, черт?! Детскую и иждивенческую... Там так и было написано: «иждивенческая», прямо хоть и не отоваривайся, от стыда сгорить... Бабушка была «иждивенка», а она ведь просто работать уж не могла, совсем старенькая, еле двигалась... Спроецировать слово на всю сцену... И на этом фоне с у м е т ь поставить пантомиму домашней работы, то есть, по тогдашним понятиям, иждивенческой... Или спроецировать на задник рабочую карточку; кажется, шестьсот или четыреста граммов хлеба на нее давали; и на фоне этой карточки показать лабораторию с окнами, заклеенными крест-накрест бумагой, чтобы не выбило взрывной волной во время бомбежек, и работу мыслителя, человека в белом халате, который недвижим, ибо он думает... В каком же мы долгу перед людьми науки! А на фоне доски с формулами можно как раз дать образ труда рабочего, Сталинградский тракторный, когда возле входа в цех шел бой, а на выходе ремонтировали танки... Придумать бы что-нибудь про сварку... Это будет грандиозно: фонограмма боя, и встык — рождение формулы сухой сварки... Черт, есть ли такая? Срочно, сегодня же позвонить в институт сварки... Красивое сочленение понятий: «сухая сварка»... Выборочность памяти, чертовски интересно... Я не мог придумать этой самой сварки, наверняка где-то слышал или читал... А почему запомнил? Неужели потому, что мой визит к Назарову был заложен в каком-то таинственном коде? Как это у Борева в «Анализе «Медного всадника»? «Внимательное чтение»? Он говорил мне, что академик Щерба рекомендовал студентам читать строфу Пушкина полгода, а то и год... «Только в этом случае, — говорил он, — вы сможете приблизиться к пониманию Пушкина, его гения»... А вообще-то страшно... Эдак можно подменить Пушкина своими видениями, а еще хуже —

представлениями... А может, именно толкователь — гарант вечности? Не будь у Христа апостолов, его учение б не дожило до наших дней»...

Первый звонок раздался ровно в девять; Писарев был убежден, что звонит администратор Ирочка; звонила, конечно же, она.

— Александр Игоревич, сколько мы просили штатных единиц?

— А что? Звонили из управления?

— Нет, пожарники пришли, спрашивают, кто будет подписывать акт, у них тут много замечаний, а со мной говорить не хотят, интересуются, кто у нас есть штатный...

— Скажите, что я приеду...

— Нет, им главный режиссер не нужен, им директор нужен или заместитель...

— Заместителя нам пока не дают, Ирочка, а единицу директора мы делим на две: главный администратор, то есть вы, и главный художник...

Ирочка зажала трубку ладонью и начала ворковать с пожарниками; Писарев при этом быстро писал расписание на завтра: «9.00 — Кирилл Владимирович; 9.15 — звонок в АН СССР, в Ин-т сварки; 9.30 — Дом моделей, переговоры о костюмах; 9.45 — звонок или поездка в мастерские Худфонда, разговор о заднике и занавесе, утверждение эскизов...»

— Александр Игоревич, ни в какую...

— Давайте им трубку...

Ирочка сказала кому-то:

— С вами будет говорить главный режиссер театра, заслуженный артист Александр Писарев, пожалуйста...

— Здравствуйте, — услышал Писарев низкий бас, — это лейтенант Жаворонков...

— Доброе утро, товарищ Жаворонков, что там у нас приключилось?

— А приключилось вот что, Александр Писаревич... — Жаворонков басисто откашлялся. — Мы акт подписать не можем, потому что нет у вас тут ни одного ответственного человека... Нам общественность только тогда нужна, когда мы нарушителей правил пожарной безопасности привлекаем... Так что придется склад печатать.

— У нас есть решение исполкома, товарищ Жаворонков.

— Оно у вас есть. У нас его нету. Нам исполком и прислал... Так что мы своей печатью вас запечатаем, пока не будет уполномоченного подписать и принять ответственность...

«Тащить и не пущать, — вспомнил Писарев слова Щедрина. — А у нас начальников за это косят... При чем здесь бедные начальники?»

— Товарищ Жаворонков, давайте сговоримся так... Я приеду вместе с начальником отдела нежилых помещений Лаптевым к семи

часам; поговорим по-людски, все обсудим ладом, а? Потом я должен передать для вашего коллектива три билета на творческий вечер Андрея Митрохина, он очень хотел, чтобы лично вы пришли...

...В одиннадцать тридцать Писарев был в райплане — надо загодя обговорить все вопросы, связанные с выделением фондов на оцинкованное железо (крыша склада все-таки протекала во время ливневых дождей); а еще Ирочка сказала, что можно выбить стеклянные панели, это вообще прекрасно: свет на сцену падает с потолка, как в ателье хорошего художника («или в хорошем ателье плохого художника», весело поправил себя Писарев), плановики отнеслись к просьбе нового главного режиссера доброжелательно, однако посетовали на бюрократию и попросили принести официальное письмо от строителей, которые бы гарантировали выполнение работы в плановый период; поехал к строителям; те узнали Писарева, долго жаловались на то, как мало выходит хороших фильмов, просили помочь достать томик Высоцкого, обещали посодействовать.

...Писарев поглядел на циферблат; на поездки он потратил уже три с половиной часа.

«Ну отчего же, — горестно подумал он, — проклятые буржуи так щедро оплачивают труд секретарей?! Почему профессор в университете имеет трех помощников? Что они там, добрее нас? Более щедры? Да они задушатся из-за цента! Но ведь платят! Потому что просчитали: эксплуатируя г о л о в у того, кто может особенно полезно и продуктивно думать, они получают в миллион крат больше прибыли, чем сэкономят на тех грошах, которые затрачивают на оплату работы маленького штаба при том, кто изобретает, готовит лекцию, снимает фильм... Те часы, которые я потратил впустую, имеют товарную ценность... За это время я мог бы провести репетицию. Сто репетиций — спектакль; если спектакль удался, он будет приносить государству ежедневную прибыль в количестве примерно пятисот рублей; допустим, люди ходят на этот спектакль пять лет; пять спектаклей в месяц; спрашивается в задаче: сколько мы отдадим обществу денег?»

Писарев остановился, достал из кармана блокнотик, долго умножал, шепча при этом, сколько останется в уме, и сам даже удивился получившейся цифре — 150 000 рублей.

«Это мы, лицедеи, — горестно подумал Писарев. — А если такое просчитать на академиках?»

В одиннадцать тридцать Кирилл Владимирович принял Грущина; машина уже сработала, кадровик побывал здесь перед ним; его подтолкнул к этому Игорь Ветлугин, друг Грущина, задействованный им вчера, словно «болван» в польском преферансе; он и вправду

считал, что его звонок в кадры должен помочь Груцину протолкнуть Писарева; лучше если про огрех скажут свои, доброжелательно, чем недруги зло.

Похвальные грамоты редко хранят в личных делах; выговоры, однако, из личных дел не изымают, даже после того, как они сняты.

Не будучи человеком творческим, Груцин тем не менее обостренно, как-то даже сладостно чувствовал душу художника, видел ее пульсирующей, сокращающейся, живой.

Мешавшая ему в творчестве изначальная логика (в истинном искусстве логика возникает лишь после рождения замысла, который обычно внезапен) спасла Груцина от жизненной катастрофы после того, как он, закончив институт, провалился с выпускным спектаклем. Другой бы на его месте отчаялся, запил, обрушился, но Груцину нельзя было отказать в мужестве и выдержке; он, что называется, «лег на грунт», начал оглядываться. И во время этого своего затаенного оглядывания он сумел увидеть и просчитать те линии связей людских, которые незримо, но постоянно (на какой-то отрезок времени, понятно) определяют те или иные секторы общества.

Груцин разбил на составные части такие понятия, как «сострада-ние», «благородство», «жалость», «ответственность», «долг», «честность»; особо тщательно он анализировал суть отношений старших к младшим, выделяя при этом, конечно же, мир театра; мужчин — к женщинам и наоборот; он просчитывал для себя допустимые границы выражения обиды, отчаяния, странности, счастья.

Он легко защитил диссертацию по искусствоведению, взяв темой творчество профессоров своего института, одним из которых был Самсоньев, художественный руководитель их курса.

Его статьи были посвящены лишь тем, кто уже был на вершине.

Он знал, что похвалу с не с е т каждый.

Он готовил свои позиции загодя.

Он сумел доказать свою нужность. «Он доброжелателен, — говорили о нем. — Да, не режиссер, но другой бы озлобился, а этот нашел себя в новом качестве; он живет по закону открытого забрала».

Именно поэтому, перед тем как ехать в управление, Груцин позвонил народному артисту профессору Самсоньеву и попросил уделить ему десять минут.

— Алексей Алексеич, — сказал он, когда мастер пригласил его на кухню (гордился тем, что вся была отделана обожженной вагонкой; чисто деревенская атмосфера; над электрической плитой была устроена стилизованная под старину вытяжка; сковородки висели медные, подарили ученики с Кавказа), — надо выручать Саню Писарева.

— А что, та сказа, случилось? По-моему, он на коне...

— Это по-вашему. Его, бедолагу, конь может с минуты на минуту

растоптать... Я бы хотел, чтоб пронесло, но сие не от меня в настоящий момент зависит...

— Бутерброд хотите?

— Спасибо, я завтракал, с удовольствием выпью стакан чая.

— Крепко заварить?

— Нет, не надо, спасибо, я пью шиповник.

— Что случилось, рассказывайте...

— Вчера мне поручили готовить на него приказ: открываем театр, то есть придаем коллективу титул театра, он ведь уже состоялся, и состоялся здорово, талантливо...

— Вы не писали о нем? Я смотрел его выездные представления, здорово... Но вы не писали, та сказа?

— Еще не опубликовал, но уже написал. Не в этом сейчас суть. Саня снова попал в какую-то грязь, что-то там связано с бриллиантами, его жена занялась куплей или продажей... Но он об этом вроде бы не знает, поэтому я и приехал к вам как к мастеру...

— Ну? — нетерпеливо спросил Самсоньев. — Куда надо звонить?

— Пока никому. Я надеюсь успеть провести приказ сегодня, но если докатится до верха, Саню надо прикрыть...

— А что это за история с бриллиантами? Откуда это у него?

— Не у него, у жены...

— Ах, какая незадача... Уголовщина?

— Нет, нет, спаси бог! Разве он на это пойдет? Но вы же знаете, как у нас все обрастает слухами! Словом, я боюсь, что мой шеф решит переиграть, отступит, скажет, что сейчас не время открывать его театр, все-таки Саня заявил свою труппу как коллектив политического действия... Вот штука-то какая... А если отложат открытие, то это надолго...

Самсоньев намазал сухой хлебец творогом, алчно и хрустко откусил большой кусок, проследил маленькими глазами, не упали ли крошки на стол (был опрятен до болезненного), спросил, прожевав:

— А как ваши отношения с Писаревым?

— Никак.

— То есть?

— Вы же знаете его не хуже меня. Я им восхищаюсь, но ведь он наверху теперь, что ему до меня, бюрократа?

— Я скажу ему, как вы по-рыцарски себя вели...

Грущин пожал плечами:

— Не ради этого приехал... Я думаю, что если мне удастся уговорить шефа в случае, если до него уже докатилось...

— От кого докатилось?

— От кадров... Я вчера совершенно случайно узнал об этой бриллиантовой истории, когда был у кадровика, понимаете? Я сидел у него, а тут стали звонить из угрозыска...

- Ну, дальше...
- Есть один только способ спасти и Саню и его театр... Вы должны согласиться стать председателем художественного совета, худруком нового коллектива...
- То есть?
- То есть ваш авторитет не позволит зарубить все дело на корню.
- А Писарев?
- Будет ставить свои спектакли! Не станете же вы отбирать у него эти двести рублей...
- Погодите, погодите, но ведь на афише будет стоять мое имя, а не его... А он придумал и затеял все это предприятие... Да нет, погодите, так нельзя, Вася... Надо позвонить Писареву и спросить его, что он думает об этом.

Груцин знал, что мастер скажет именно так; он ждал этого вопроса, точнее говоря, вел к нему, ибо ответ его был готов и сложен, выверен до самой последней мелочи.

— Вы тогда заодно позвоните моему шефу Кириллу Владимировичу и расскажите ему, как я занимаюсь разглашением служебных тайн...

Самсоньев аж крикнул, дожевал свой хрустящий хлебец и сказал:

— Если вы думаете, что мое согласие спасет писаревский театр, то придумайте, как отбить для него имя в афише...

— Сначала надо открыть театр... Повторяю, может быть, до Кирилла Владимировича еще и не дошло, давай-то господь...

— Хорошо, держите меня в курсе дела...

— Надо, чтобы вы побыли дома хотя бы до часу.

— Не могу. У меня репетиция со студийцами в двенадцать.

— Я должен быть у шефа в двенадцать. Но вы же знаете, его могут задержать, вызвать... Пожертвуйте для дела репетицией, вы ж нас к себе домой приглашали работать...

— Моложе был, потому и приглашал, — вздохнул Самсоньев.

— И последнее, мастер. — Груцин вел свою роль точно, выверив все до малости, ибо знал, как Самсоньев чувствует фальшь. — Теперь уж обо мне... Я закончил докторскую... Если вы не станете моим оппонентом — удавлюсь...

По тому, как Самсоньев поднял на него глаза, Груцин сразу же понял, что тот подумал. Он обязан был подумать, что Груцин пришел к нему с просьбой о Писареве лишь для того, чтобы получить свой навар с этого неожиданного визита. Пусть он думает про меня как про мелкого торговца, я же знаю, он не очень меня жалует, потому что я никогда не отрывался с ним, как Санька, пусть он даже побрезгует мною или пожалеет меня, пусть, только бы он ответил Кириллу Владимировичу «да», когда тот позвонит, а уж то, что тот позвонит, сомнения нет, я знаю, как там сыграть легче, чем здесь.



...Самсоньев подумал именно так, как понудил его к этому Грушин.  
...Месть — это наслаждение бездарей, и сколь же оно им сладостно!

...Выйдя от профессора, Грушин сел в свой старенький битый «москвичок» и поехал в центр через Ленинские горы. Там, затормозив напротив маленькой церквушки с синими куполами, он, включив стоп-сигналы и моргалку, вышел из машины и внимательно оглядел колеса (ему сделали предохранительные колпачки, потому что постоянно боялся, как бы кто не ослабил винты; до ужаса явственно представлял себе катастрофу, когда машина летит в кювет и взрывается; так же мучительно близко ему виделся взрыв в самолете при наборе высоты, в момент отрыва от земли, поэтому никогда не летал, даже на конференцию во Владивосток ездил поездом, мотивируя это необходимостью посетить театральные труппы Восточной Сибири, Бурятии и БАМа).

Колпачки были на месте.

Грушин перебежал дорогу, остановился на краю обрыва, долго смотрел на прекрасную панораму утренней Москвы, потом достал из кармана старую трубку — с ее именно помощью пять лет назад бросил курить, — сунул в рот, представил себе, что набита она хорошим медовым «глэнном», пыхнул «по будто бы» и сказал себе: давай-ка, Вася, перепроверим еще раз расстановку фигур на доске. Сначала давай еще раз проанализируем изначальное моего решения поступить именно так, как я поступил. Почему я решил ударить? Вспомнил второй курс? То, как он оскорбил меня при всей профессоруре, а я не смог ему ответить, не ударил его, и с той поры был отброшен со своей позиции раз и навсегда? Можно, конечно, начать отсчет отсюда. Но ведь я могу сказать себе, что Писарев просто-напросто занесся, он счастливчик в искусстве, его не били, он входил в театр, как нож входит в масло; человек, который не страдал, не может быть по-настоящему великим художником, только боль рождает новое качество в творчестве; оно добреет, делается глубоким, открывает новые, дотоле неведомые пласты жизни. Значит, получив этот удар, Писарев поднимется на новую ступень, и общество будет благодарно тому, кто помог случившемуся. Почему я не вправе выстроить такого рода партию? Грушин услышал в себе вопрос: «Ты строишь партию защиты?» Нет, возразил он тому, кто позволил этому вопросу, неприятному и чужому, возникнуть в нем самом, я не намерен защищаться, ибо я не нападаю. Я лишь корректировал происходящее. Жизнь определяется вероятностями. Разве я не вправе допустить мысль, что кадровик сам бы пошел к шефу? Наверняка пошел бы, это его долг; мы централизованы, и это целесообразно при наших размерах, иначе все разъедется, по швам разойдется; информация необходима, ибо живет в век информации; разве кто-то оклеветал кого-то? Написал

донос? Я не виноват в том, что милиция запросила на него характеристику. Так получилось, что именно я узнал об этом первым. Случайность? Но ведь всякая случайность есть выявление закономерности. Другой бы на моем месте легко мог сделать так, чтобы вся идея Писарева оказалась битой, ни о каком театре могло бы не быть и речи. Действительно, и его директор Киреев с левыми концертами, и институтские еще дела, когда он участвовал в драке, и было возбуждено дело, и его спасло лишь то, что изменилось в его пользу время, а сейчас эта афера с бриллиантами... «Какая афера? — снова услышал он в себе вопрос и понял, что ему неприятно то, что вне его воли в мозгу возникают чужие вопросы.— У его жены украли колбе жулики... Это колбе ее деда, в чем же афера?»

Он вдруг ощутил поднышающую в нем волну теплой радости, но он заставил себя подавить ее, эту слепую, родную ему радость, и ответил кому-то другому, что Пушкин только потому смог написать и Моцарта и Сальери, что рядом с ним жил Кукольник, и купался в лучах славы, и государь любил его... Да, каждый человек рожден из «я» и «анти-я» — ничего не попишешь. Пушкин умел быть Моцартом, но ведь смог примыслить Сальери.

И снова в нем родилась мысль, неподвластная ему, какая-то сторонняя и холодная: «Ты мог бы гениально поставить Бомарше, никто еще не мог точно прочесть образ Дона Базилио; во всех трактовках он страдал, играл порок, а надо все делать наоборот: Дон Базилио — обескоженный добродетель, искатель высшей правды, он разоблачает клевету, вскрывает ее механизм, ко всеобщему сведению, предупреждает человечество об опасности...»

А что, верно, подумал Грущин. Но, к сожалению, в ближайшее обозримое будущее мне нет смысла ставить Бомарше, во всяком случае, пока жив Самсоньев...

Он скажет «да» шефу. Он обязательно скажет «да», потому что последние десять лет его преследовали неудачи и на телевидении и в театре. Его постановки хвалили, но на них никто не ходил. Он потерял темп, а может, не понял стилистики нового времени. Оно очень сложно, наше время. Как у каждого времени, у него есть свои законы, которые станут понятны лишь потомкам. «Лицом к лицу лица не разглядеть». Именно так. А Лену он любит, а ей тридцать четыре; он старше ее на сорок лет. Как это говорят, «ночная кукушка дневную перекукует»? Так, кажется. Он может куковать только днем. А этого Лене мало, чтобы удержать ее, он обязан вновь стать объектом общественного интереса. Памяти сострадают, привязаны лишь к живому. Афиши с его именем по всему городу — это живое, это привяжет к нему Лену, она человек деловой, у нее в мозгу компьютер, просчитывает на пять ходов вперед... Саня так бы себе не ответил,

впрочем... Он бы наверняка пошел к Ботвиннику и дотошно его выпросил, на сколько ходов вперед думает большой мастер... А вот мне кажется, что просчитывают именно на пять ходов вперед. И я навяжу это мнение тем, кому хочу его навязать. Вот так-то...

Самсоньев, конечно, выдвинет какие-то условия, и я, в общем, чувствую, какими они будут, я подготовлю к разговору шефа. Саня — после случившегося — не станет звонить, узнавать, писать... Если бы речь шла о Митьке или Кочаряне, он бы, конечно, полез в драку. А за себя не станет... Да и потом он в углу... «Неужели творчество вам не дорого, но лишь тщеславие? Побольше скромности, товарищ Писарев... Станиславский не думал об афише, когда создавал театр... Мейерхольд был счастлив тем, что мог ставить свои вещи и после того, как перестал быть главным режиссером... Для любого художника честь работать вместе с профессором Самсоньевым, разве нет? Он выпестовал вас, за ним звание, опыт, имя, наконец... Или вы не хотите работать с прославленным мастером сцены?»

Пусть носит в себе обиду... Как я ее носил всю жизнь... Неотмщенную обиду... Пусть поворочается всю ночь напролет в кровати, пусть покусает костяшки пальцев, как я кусал... Ничего, если переживет, то поднимется еще на одну ступень... И сделает такое, что потрясет людей...

«И тебе это будет приятно?» — он снова услышал чужой голос.

Гручно отчего-то заставил себя усмехнуться; он потом так и не смог понять, зачем он понудил себя к этому. но улыбнулся.

Хорошо, а как на все это посмотрит Назаров? Он с завтрашнего дня в отпуске, радость, защита у дочки, поездка на юг, и все такое прочее... Хорошо, а ежели шеф все-таки не станет подписывать без согласования с Назаровым? Писарев ведь был именно у Назарова, и тот дал добро театру... Надо проработать вопрос о «мелочах»... Верно говорят, мелочей нет... Тезис и антитезис. «Зачем, Кирилл Владимирович, идти с этим частным вопросом к большому шефу? Стоит ли вообще ворошить грязное белье? Обернется-то против нас, работа с кадрами и все такое... А Писарев будет рад, что к нему пришел сам мастер, он обожает Самсоньева... А еще лучше дать дополнительную единицу для режиссера, это вообще гениально... Все соблюдено... Ради престижа нового дела во главе становится народный артист, лауреат, профессор, а режиссер Писарев... Театр публицистики, яркая современность, стоит ли подставлять большое новое дело? У Писарева множество завистников, слухи об этом несчастном колье не удержишь; не вода за плотину — слухи все равно пойдут, а если во главе стоит Сергеев, то и дело с концом... Уверяю вас, Писарев будет по-настоящему рад такого рода решению шарады... Пройдет время, улягутся разговоры, которые неминуемы, можно будет пересмотреть афишу, да и Самсоньев не вечен...» Стоп, про это не надо... Есть национальная корпоративность, есть классовая, но и возрастная тоже довольно сильна...

«Уверю вас, Кирилл Владимирович, мы нашли оптимальный вариант, что ж по каждому пустяку согласовывать, в конце концов инициатива решает все». «Судьба таланта не пустяк, товарищ Грущин, талантом надобно дорожить»... Может и так ответить, верно... «Видите ли, Кирилл Владимирович, Писарев в письме на имя товарища Назарова ставил вопрос о театре, и этот главный вопрос решен положительно. Смотрите, Писарев просил пять штатных единиц: главрежа, директора, дирижера, главного художника, механика... А мы даем ему дополнительную единицу «режиссера». Можно, конечно, и подождать с приказом, время терпит, но, вы говорили, Назаров просил провести все за два дня, снова на нас все шишки посыплются. Поверьте мне, все-таки я вырос в театральной среде, предлагаемое решение — оптимально... Вспомните, наконец, кино... Посмотрите титры... Ученик — в качестве режиссера-постановщика, и отдельный титр для мастера, художественного руководителя... Ближайший друг Писарева, помню, Левон Качарян был счастлив, когда известный режиссер согласился быть его художественным руководителем... А потом можно подбросить на закуску: «Пригласите к себе Писарева, поговорите с ним начистоту». Ага, конечно же, поежится, кому охота? И к Назарову идти не с руки; в конечном счете именно Кирилл Владимирович санкционировал начало работы Писарева, когда тот начал катать со своим табором по клубам и дворцам культуры... «Ах, Кирилл Владимирович, Кирилл Владимирович, думаете, не найдутся и в нашем коллективе люди, которые с радостью бросят в нас камень: вы ж первыми поддержали опыты Писарева, когда тот начинал два года назад! Еще как бросят! А чем мы с вами будем крыть?» Именно так, надо постоянно связывать его с собою, не бояться ответственности, да, виноват, промолчал, ибо хорошо знал грешки Писарева поры его юности, но какой талант безгрешен?! Это я, чиновник, должен быть на просвет чистеньким, а Писарев — человек особый, ищущий, на что-то приходилось закрывать глаза, да и потом меня бы не преминули упрекнуть в зависти, как-никак окончил театральный, в дипломе стоит профессия «режиссер»... Нет, об этом не надо, начнет задавать вопросы, когда, где, у кого, с кем... Можно и дальше поднажать, что, мол, юного хирурга — надо уточнить, кого — даже судили, дали два года, зарезал на столе больного, а потом героем стал, академиком... Или Рамзин? Первый лауреат Сталинской премии, — ведь был обвиняемым на шахтинском процессе, искупил вину талантом своим... Нет, опасно, Кирилл Владимирович может сказать, что и Писарев искупил... Хотя есть ответ: там шахты или больница, здесь театр... Нет, не надо, перебор во всем хуже, не только в картах... Впрочем, держать про запас надобно все; кто знает, глядишь, пригодится главное, оглушить, вызвать растерянность, заставить прийти к решению подумать еще раз, пообождать.

В одиннадцать сорок Кирилл Владимирович позвонил Самсоньеву. Тот репетицией со студийцами пожертвовал, звонка ждал...

6

...В бассейне «Москва» седьмой павильон сделался своего рода литературно-театральным клубом.

Два раза в неделю, по утрам, здесь собирались актеры театров и кино; плавали, однако большую часть времени проводили в парной, сгоняя лишний вес; мазались солью или медом и, чтобы не скучно было потеть, предавались беседам об искусстве.

Именно здесь-то и нашел Писарев своего друга.

— Знакомся, твой коллега из Питера, — сказал Степанов, кивнув на пепельноволосого гиганта с римским профилем. Лаемяся второй день, в пору печатать коммюнике; «переговоры проходят в духе сердечности и открытости», особенно если речь идет об иракско-иранском конфликте.

— Удалов. — Гигант протянул длинную ладонь.

— Писарев.

Степанов вздохнул, потянулся по-кошачьи, зевнул:

— Слушай, Удалов, а где ваш Пикассо?

— Он любит плавать, — ответил Удалов. — Соли разгоняет.

— Наш художник, — пояснил Степанов. — Он традиционалист, поэтому мы зовем его Пикассо. Ведь Пикассо был так же традиционалистом в своей манере, нет?

Писарев понял, что Степанов зол; он не ошибся.

— Мы спорим, Саня, — вздохнул Степанов. — Второй день спорим. Удалов, пригласим Писарева в арбитры?

— А я, честно говоря, не считаю себя поклонником манеры Александра Писарева, — ответил тот. — Меня интересует маленький человек в его каждодневных заботах; я, Дмитрий Юрьевич, Чехова чту.

— Ба-альшой оригинал, — заметил Степанов. — Скажи на милость, как храбр, Сань, а?! Он Чехова не боится чтить!

— Я не совсем понимаю происходящее, — сказал Удалов, поднимаясь с подоконника, на котором они сидели у входа в парную. Если у вас есть претензии к снятому материалу, давайте их обсуждать, а так... Я не понимаю предмета... Вы ж подписали мой режиссерский сценарий? Подписали. А теперь то не нравится, это не годится...

— Подписал — не подписал, дорогой Удалов, это из другой сферы жизнедеятельности. Я ж не протокол задержания подписывал, а режиссерский сценарий. Вы изложили свое видение моего сочинения... Я ведь обязан верить вам, старина! Нельзя начинать предприятие и не верить в того, кому надлежит вести дело до конца!

Я полагал, что когда появится третье измерение, то есть его величество актер, то заиграют новые краски, родится интонация... А вы мои слова пробрасываете, купируете, вам важно, как актер сидит, ходит, закуривает... Понимаю, без этого нельзя, но я знаю свои слабые стороны, но и сильные тоже знаю... Вы не даете актерам говорить мои слова, вы торопите их, у них нет времени думать, и в результате получается не моя вещь... Так, рюшечки, грусть, тоска, маленький человек... Премьер-министр может быть маленьким человеком, а сельский учитель — великим мыслителем. Если отсчет «маленького человека» в российской литературе начинать от пушкинского Евгения, из «Медного всадника», так он царю грозился, когда его беда настигла, царю, да еще какому! Чеховские маленькие люди тоже, кстати говоря, большую опасность в себе несли, порох в бочке, поднеси фитиль — жажнет! А у вас оборочки... В сцене говорят о политической ситуации, зрителю должно быть все ясно, как дважды два, а вы велите актерам разыгрывать упражнения из режиссерских задачек для второго курса, когда обязательные предметы проходят... Я заранее знаю, куда вы поведете: плохой у вас — очень плохой; хороший — обязательно молчалив и скорбно улыбается... А мои герои не такие... Плохой — обязан быть и хорошим, очень хорошим, только тогда он станет страшным, то есть по-настоящему плохим! А хороший пусть в чем-то будет сукиным сыном, пусть болтает, задирается, жене изменяет!

— Это не пропустит худсовет...

Степанов изумленно посмотрел на Писарева:

— Да при чем здесь худсовет? Я ж не рецепты даю и не пишу реплику! Я рассуждаю вместе с вами! Я пытаюсь обговорить концепцию, Удалов, хороший вы мой! Ладно, плавайте, потом договорим...

Посмотрев вслед картинно удалившемуся Удалову, Писарев покачал головой:

— Митя, ты ни о чем не договоришься с ним. Он другой, понимаешь? Есть люди, мы с тобою, наши друзья, а есть другие... Так вот он — другой. Он говорит на другом языке, у него другие мысли... В нем нет неожиданности, он «селф мэйд мэн», «самосделанный человек», только в дурном выражении... «Он неожидан, как фишка, ветрен, словно март, нет у поэта финиша, творчества — это старт...» А разве в нем может быть хоть какая-то неожиданность?

Степанов неожиданно спросил:

— Ты Ахматову любишь?

— Очень.

— А я только вчера полюбил, вот дуралей-то, а? «Один идет своим путем, другой идет по кругу, и ждет возврата в отчий дом и прежнюю подругу, а я иду, за мной беда, не прямо и не косо, а в никуда и в никогда, как поезда с откоса...» Поразительно, а? По стилистике — Анна Каренина в рифме, да?

— Ты ее раньше не знал?

— Наверное... Пытался читать, но не входило... Надо ведь, чтобы вошло, тогда только поэзия станет твоею... Я бы в пропагандисты принимал, как в члены творческого союза, со всеми вытекающими отсюда льготами и наградами, честное слово... «Бу-бу-бу», а сам не понимает, что говорит... А мне женщина вчера читала... Хотя нет, сегодня уже... Знаешь, есть стихи утренние, а есть вечерние...

— Точно. Особенно, у Ахматовой.

«Он любил три вещи на свете:  
За вечерней пенью, белых павлинов  
И стертые карты Америки.  
Не любил, когда плачут дети,  
Не любил чая с малиной  
И женской истерики.  
...А я была его женой».

— Слушай, давай сбегим, а? — сказал Степанов. — Поедем в «Арагви», мы там вечность не были. Едем, Сань?

— А ты мне триста дублонов одолжишь?

— Конечно.

— Только я верну не раньше, чем через три месяца.

— С главрежской зарплаты? Сколько тебе положили?

— Постучи по дереву.

— В данном случае по дереву можно не стучать, дело верное.

— Заедем тогда на Телеграф, я переведу в Гагру...

О своих домашних делах они старались не говорить — и тому и другому это было больно; когда в компании малознакомых людей Степанова начинали выспрашивать, где Надя, отчего не пришла, чем сейчас занимается, Писарев, глядя на друга, испытывал острое чувство тоски, даже под ложечкой холодело. И он всегда горделиво поражался выдержке друга: тот отвечал рассеянно, улыбался при этом, умело уходил от слишком уж назойливых вопросов, ловко переводил разговор на другие темы, захватывая при этом инициативу; только Писарев замечал, как потом менялось его лицо; он старился, делались заметными сеточки морщин под глазами, на висках проявлялась нездоровая желтизна, и весь он делался как фотопортрет, выполненный на крупнозернистой пленке.

...Первым человеком, кого Писарев увидел в «Арагви», был Назаров.

— Банкет у Арины здесь будет, — пояснил он, — в семь часов. Проверяю готовность... Ну, у вас все в порядке? Можно поздравлять?

— Завтра, видимо.

— Ну-ну... От всего сердца. Я дал все команды...

— И вас поздравляю, Станислав Федорович, с молодым кандидатом Ариной Станиславовной.

— Постучите по дереву.

Писарев представил себе, как бы фыркнул Митька, если бы услышал эту фразу большого босса. Как же все стремительно меняется, бог ты мой! Тридцать лет назад человека в узких брюках называли «стилягой», а уж того, кто носил пиджак с разрезом, молодые ревнители нравственности могли попросту задержать на улице. А сегодня стоял рядом с Писаревым первый заместитель начальника главка, и брюки у него были узенькие (сейчас, правда, стилистами считали тех, кто носил широкие, расклешенные, в которых раньше ходили ревнители), в пиджаке со шлицей, и галстук на нем был нарядный, яркий, и он не костил Писарева формализмом, а, наоборот, поддержал его идею создания нового зрелища. А что это, кстати, такое, формализм? Разве балет — от начала и до конца — не есть гимн форме? А греческая статуя? Да и вообще разве реализм существует вне формы? Что существует вне формы? Дух? Но ведь и религии ищут для себя соответствующую форму.

...Никого из тех официантов, с которыми Левон, Степанов и Писарев дружили, когда приезжали сюда — с первых своих заработков — пировать вместе с Эдиком, Мишей, Андреем, Эриком, не было уже. Работали все больше женщины, а раньше они всегда садились к Аркаше, армянину, дружочку, который не спрашивал, какой будет заказ; он приносил много зелени; тогда здесь была и кинза, и цицмати, и тархун; потом он угощал их жареным сулугуни и горячим лобио, а заключал пиршество куриной чихуртмой, господи, когда ж это было?!

...Толстая, малоподвижная официантка на их вопросы о тех блюдах, которые они всегда брали, отвечала односложным «нет»; было ей откровенно скучно; она ждала вечера, когда придут компании, и закажут ветчину, водочку, колбаску, сыр, коньяк, икру, все будет, как полагается, а эти базлают про какие-то потроха, где они их видели, эти потроха; гребешки; еще чего захотели, поди выполни план с этими гребешками, сразу в трубу вылетишь.

Писарев заметил, как Степанов набычился; положил руку на его колено, обезоруживающе улыбнулся официантке:

— Девушка, вы не сердитесь, мы бутылку тоже закажем и порцию икры возьмем... Только у моего друга мать — грузинка, он сам приезжий, поблагодарит от души, главное, чтоб зелень принесли, кавказцы без нее не люди...

Официантка подобрела, заказ приняла, «отколыхала» на кухню, а Степанов, посмотрев ей вслед с горестным недоумением, сказал:

— Саня, запомни: лишь двумя инструментами природа одарила истинных литераторов — впечатлительностью и вдохновением... Нет,



правда, когда меня обидят, я писать начинаю, как одержимый... И еще одно я вычитал, про нас, пишущих и созидających... Никто так легко не истолковывает в плохом свете любой поступок окружающих, никто так подозрительно не относится к обычным событиям, никто так не подозревает и не впадает так легко в ярость или уныние, как люди, одаренные даром творить... Скажи нет?

— Скажу да.

— Серьезно, я сейчас ехал и думал все время: ну, почему возник этот самый Удалов? Он же дуб! Почему я согласился, чтобы именно он ставил мой фильм? Я всех знакомых перебрал в уме: кто-то ведь рекомендовал его мне? Значит, интрига?! Хотят подставить под удар?! Раздолбать в газете?! Критика повлияет на моих издателей, они начнут страховаться, высчитывать, что это может значить, начнут мурыжить рукописи, не включать в план публикаций; заговор, караул! Я хоть и провожу сам с собою психотерапию, но помогает далеко не всегда.

— В этом нет ничего странного, Митя. Талантливость — это определенного рода аномалия. Ньютон страдал периодическими расстройствами ума; Глюк от пьянства умер; вспомни Руссо. Где талант — там редко встретишь логику. Тассо всю жизнь бранил царский двор, а сам жил их подаением и пресмыкался перед каждым, кто стоял выше его; Свифт, будучи священником, поносил религию; Руссо отрекался от всего того, что перед тем славил. Никто из больших гениев не мог жить на одном месте, как, например, я, простой смертный. Кардан метался по миру, Руссо, Эдгар По, молодой Горький; а Пушкин? А непонятная тяга к постоянным изменениям? Паскаль часто бросал физику и принимался за проповеди, Свифта всегда тянуло в политику и историю, Уолт Уитмен был счастлив, когда бросил свое плотничье ремесло и сделался чиновником...

— Хорошо б, если ты рассказал об этом Наде лет пятнадцать назад, когда мы только начинали... А я — твоей Лидухе...

— Я интерпретатор, Митяй, я вне категории создателя, сиречь таланта... А вот что ты станешь делать с этим своим Феллини, я ума не приложу...

— Ты ощущаешь, как стремительно стало время, Сань? Как это гениально сформулировано: «С ярмарки», а?

— У тебя по-другому, Митяй. Ты сам. Сам с собой. А мы в группе, мы кончаем репетицию и ждем завтрашнего дня...

— А ты думаешь, я не жду завтрашнего дня, когда кончаю главу? Еще как жду. А все равно ужасно боюсь времени, до черта, видно, придется унести с собою идей в мир иной, я уж думаю записать побольше сюжетов, которые не успею... которые могу не успеть реализовать... Ничего фраза, а? «Реализатор сюжетов»...

— Ты — сам, — повторил Писарев. — Тебе труднее.

— Левона Кочаряна часто вспоминаешь?

— Очень.

— Я каждый день. Утром и вечером... Странное мы поколение: вот-вот пятьдесят, времени стали бояться, а внутри все равно ощущаем себя мальчишками. Разве ты веришь, что тебе сорок восемь, Сань?

— Нет. Только если сердце кольнет.

— Когда колет — не страшно, невралгия...

Официантка принесла закуски, бутылку; изучающе посмотрела на Степанова и заметила:

— Никакой он не грузин, самый что ни на есть русский.

Они выпили; Степанов вздохнул:

— Знаешь, о чем мечтаю? Чтоб как раньше было... Когда мы скидывались на бутылку с красной головкой; бородинский хлеб с солью, луковица и вареные яйца...

— А пельмени? Помнишь, как мы варили пельмени?

— Я на тебя тоску нагоняю, да, Сань? У тебя радость, а я в полнейшем миноре... Кстати, могу тебе подбросить занятную тему для спектакля... «Клан»... О семье Кеннеди; может быть, крайне интересно... Что определяет судьбу человека? Закономерность? Или рок? Или генетический код?

— Интересная тема. Закономерность, рок и код, все завязано в один узел...

— Саньк, а ты помнишь Коктебель шестьдесят второго?

— Помню. Отчего ты про это?

— Не знаю. Налей, а?

— Заставишь своего Удалова переснять материал, фамилию в крайнем случае снимешь...

— Э.— Степанов махнул рукой.— Проигрывать больно. Слишком мало партий осталось... А я Коктебель теперь тоже чуть что не каждый день вспоминаю.

Он, Митяй, устроил тогда так, что и Писарев и Левон смогли — по письмам театра и киностудии — получать путевки в писательский дом творчества «Коктебель».

То лето было особым; ни разу погода не портилась, небо было высоким и до того голубым, что иногда казалось, будто его совсем и нету; Мария Степановна, подруга поэта Максимилиана Волошина, была еще совсем бодрой, часто принимала у себя, рассказывала о прошлом так, будто «коктебельские встречи» были вчера, и будут завтра, и приедут знаменитые наши писатели, академики, режиссеры, артисты — и наши одногодки, будущие знаменитости...

— Иных уж нет, а те — далече, — сказал Писарев. — Ты об этом?

— Об этом, — вздохнул Степанов. — Помнишь, как мы делали шашлыки возле забора?

— Помню. Это, когда ты молодой, кажется, что можно отойти за двести шагов, и будешь сам по себе...

— Хорошо сказал.

— Ты давно не был в Коктебеле?

— Я боюсь ехать туда, Сань. В молодость возврата нет, есть уход в память, а это самый близкий путь к сентиментальной старости.

— Слушай, а давай махнем туда вместе, Мить? Хоть на пару недель?

— Я боюсь, — повторил Степанов. — Даже вдвоем — боюсь. Можно, конечно, пригласить подруг, не брать пишущей машинки, но это будет реанимация, а реанимируют все же ненадолго, потом станет еще хуже; мы будем все время играть и даже перед самим собою играть, а это, мне кажется, невыносимо...

— Если увлечешься, — не утомительно, даже приятно.

— Это если на сцене, Сань... Жизнь-то прожита, брат...

Он сказал это просто и спокойно, и Писарев вдруг понял весь ужас этих слов, но словно бы какая-то незнакомая защитная сила возникла медленно в его сознании, и он услышал одно лишь — «театр», а потом увидел зал; сцену, где собираются друзья; лица будущих зрителей; он ощутил сладостный запах кулис, таинственную темноту, возникающую за колосниками, и ответил:

— Мить, не прожита. Она была б прожита, если б мы сделали все, что могли.

— А мне кажется, что мой пик кончился... Я сделал все, что мог. И спускаюсь... Иду с горы, стараюсь замедлить спуск, а никак; давит спину, все быстрее бежится, все быстрее...

— Я тебя в нашем театре задержу, Мить, — пообещал Писарев.

Тот вздохнул, посидел, закрыв глаза, потом улыбнулся:

— Попробуй, Сань... Это было б замечательно...

После театра он заехал домой, спал ровно час, без будильника; принял душ, отправился на завод, где работал брат одного из студийцев; обещал помочь с заказом на особый кран; Писарев считал, что скорость монтажа сцены сейчас, при том, что есть кино и телевизор, имеет огромное значение; в цеху молодой парень, глянув на чертеж, пожал плечами:

— Если уж блоху подковали... Ваня объяснял, вам нужен резкий отъезд и спуск... Я понимаю, я на встрече был с режиссером Дашковым, он рассказывал, как его замысел погубили таким краном...

— Это как? — заинтересовался Писарев.

— А так. Ему в финале надо было вертолет получить, чтоб оператор медленно поднимался и снимал убитых героев, которые город спасли... Чтоб зритель сначала лица видел, потом тела, а потом маленькие точки на снегу, а потом — ничего... Вертолета не дали, говорил; их, оказывается, тоже жмут, киношников-то; уговорили взять кран, обещали высокий сделать; обманули; очень Дашков

образно про это излагал, я даже расстроился; я ему объяснил, как можно кран переделать, а он: «Поздно, в кино что снято, на том точка».

С завода Писарев поехал в балетное училище, обещали отдать старые станки; думал выпросить старые зеркала, студийцы были связаны со стекольщиками, просили дать им основу, остальное обещали сделать сами; Писарев считал, что современный театр невозможен без пластики, движения; какие-то сцены он видел обрамленными танцем; движение мысли можно выразить движением движения, а уж подтвердить — тем более; подтвердить — не проиллюстрировать.

Оттуда поехал смотреть в Дом культуры картину Элема Климова. Домой вернулся с фотографом Шурой; тот предложил использовать его персональную выставку в качестве макета будущих декораций; проговорили допоздна, чертовски интересно.

Перед сном, проводив Шуру, Писарев подумал о Степанове; весь день, после того как расстались в «Арагви», ему было тревожно за друга.

«Завтра вечером устроим пиришествво в театре,— решил он.— И позовем Митьку. А потом утащу его сюда. Или к нему поедем. Не надо ему сейчас быть одному».

Закрыв глаза, он сразу же увидел лица детей и поэтому уснул радостным.

## 7

«А голова-то не болит,— подумал Писарев, открыв глаза.— Когда ждешь счастья, голова никогда не болит; страдаешь, если только надвигается неприятность».

За мгновение перед тем, как посмотреть на часы, он уже знал, что сейчас шесть часов десять минут.

Стрелки показывали шесть часов три минуты.

Писарев взбросился с дивана, оделся, натянул шерстяные носки, затолкал чуть опухшие ноги в свои старые разношенные бело-красные «ботосы» и отправился на пробежку.

«Позвоню в четверть десятого,— подумал он, переходя на бег.— Это тактично, никто не обвинит в назойливости, хотя ужасно хочется набрать номер в девять, как только стрелки замрут на секунду, организовав эфемерный, стремительно и безвозвратно проходящий сектор девяноста градусов... Эк, куда потянуло... «Аркадий, ну, пожалуйста, не говори красиво...» Великие тем и великие, что рубили афоризм... Запомнить легко... Лишь память людская гарантирует величие, то есть жизнь после смерти...»

Он бежал валко, чувствуя тело собранным, ощущая продольные мышцы спины; это была его защита; когда было плохо, он напрягался, и если чувствовал жгуты вдоль спины, то ему казалось, что это Левушка стоит сзади, а тогда не страшно, от кого угодно можно отмахнуться, никакая колда не опасна.

«Митька щедрый. Только щедрые могут творить,— рассуждал он с самим собою.— Спектакль будет называться «Расследование». Задник — пальмы. Митька говорил, что в Голливуде стоят огромные пальмы, крона, словно взрыв, голову приходится заирать, разгоняешь соли, смерть остеохондрозу! Как это у Пастернака? «В траве меж диких бальзаминов, ромашек и лесных купав лежим мы руки запрокинув и к небу голову задрав... И так неистовы на синем разбеге огненных стволов...» Черт, вот слово! Впрочем, пальма — волосата, неэстетично... Надо сказать художникам: найти символ устремленности. Объект для фантазии — пальмы Голливуда... А сцена должна быть казенной; деревянные стены, американский флаг; черные костюмы, белые рубашки, синие или темно-серые галстуки... Представление о том, что Америка многоцветна и безвкусна, провинциально... Чиновная Америка столь же традиционна, как любая иная, и сплетни такие же, маленькие, и те же удары из-за угла... На креслах, во вспышках репортерских блицев, под камерами кинохроники сидят обвиняемые: Чарли Чаплин, Поль Робсон, Артур Миллер, Бертольд Брехт, Ганс Эйслер. Это не важно, что каждого допрашивали в свой день... Ужасно, когда режиссер ищет абсолютную правду на сцене. Он должен создавать на сцене свою версию жизни: поиск правды — предтеча рождения нового качества бытия. Председательствующий комиссии — хорошо бы добиться сходства с Никсоном — назовет каждого по имени, перечислит их работы; подсудимые будут подниматься, как и полагается в расследовании, и отвечать лишь одно слово: «Я». А потом назовут свидетелей обвинения: Рональд Рейган, Рут Фишер, Дуглас Фербенкс... И Рут Фишер, бывший генсек австрийской компартии, родная сестра Ганса Эйслера начнет давать показания на брата: «Агент Коминтерна, русский шпион, его исправит лишь тюрьма...» А ведь действительно «поднялся брат на брата»... Вот они, пики истории... Отрывок из «Карьеры Артуро Уи», в стык — допрос Брехта... Отрывок из Артура Миллера, можно взять даже позднюю вещь, «Смерть коммивояжера», а в стык — его допрос; песня Робсона — допрос; сцена из фильма Чаплина — допрос; показания свидетелей обвинения... Это был особый процесс, расследование националистов, которые решили на ужасе новой импровизации сплотить «истинных» американцев, тех, которых можно считать полнокровными, ариями... Все люди чужой крови — агенты Коминтерна, они несли в Америке «инострannую» идею... Ну и чего добились? Чаплин уехал, Брехт уехал, и сколько же лет прошло, прежде чем появился Спенсер Треси в фильмах Поллака?!

Началось культурное безлюдье Америки... Протестующий голос Альберта Эйнштейна остался гласом вопиющего в пустыне... Фейхтвангер замолчал, Хемингуэй осел на Кубе, в Штатах не появлялся... Началась «эра посредственности». Понадобился Вьетнам, чтобы в Америке прослулась совесть художников; неужели только трагедия по-настоящему движет искусство?

Писарев прибавил скорость, хотя знал, что до девяти пятнадцати еще ждать и ждать, варить кофе, колдовать над овсянкой, маяться от желания позвонить Степанову.

«Черт, а что я скажу Лиде? — подумал он. — Надо Ваську как-то проинструктировать, чтоб он успокоил ее... Или Николашку Прокопьева... А еще лучше попросить выдать туда звонок Митяя... Лида очень авторитарна; я скажу — не поверит; тот, кого она уважает, считает талантливым и сильным, для нее истина в последней инстанции. И даже не обязательно им быть, важно, чтоб она так считала».

Возле станции метро он ощутил запах табака; пульсация выбросила первую смену.

«Митька прав, когда говорил о «Клане», — сразу же забыв о том, что надо звонить в Гагру, вспомнил Писарев. — Тоже грандиозное зрелище... Три брата: Джон, Роберт, Эдвард Кеннеди. Сцена разбита на кадры замершей хроники; как только придумать лестницы, чтобы поднимать и опускать игровые площадки. Начало действия в верхнем левом углу. Характеристика на Руби, Освальда, на тех свидетелей, которых потом перещелкали люди ЦРУ и мафии. Сюжет ведет Роберт, он уже близок к тому, чтобы открыто выдвинуть версию убийства старшего брата. Снова включаются кинокадры, возникает Сирхан; противники Роберта; их позиция, точки расхождения. Выстрел на кухне отеля «Амбассадор» в Лос-Анджелесе; оцинкованные стойки, белый кафель, словно заранее приготовленная мертвецкая... Эдвард... Подборка его выступлений по узловым проблемам политики и экономики... Он тоже подбирается к главному, он накануне того момента, когда сможет сказать то, чего не сказал брат... А тут хорошо сработанная трагедия с его секретаршей. Это л у ч ш е, чем убийство, это попытка навсегда девальвировать его как политика, подорвать веру в его слово... Начнут цепляться наши перестраховщики, это точно... Ну и что? «И засуху победим»...

— Дай же поспать, ирод, — чуть что не пропел Степанов в половине девятого, когда Писарев, не утерпев, позвонил ему. — Я снова в четыре лег!

— Любовью занимался?

— Я верстку правил! То, се, а ты выспаться не даешь! Все вы, главрежи, на одно лицо... Ну, что тебе?

— Ничего. Хотел сказать «доброе утро» и позвать сегодня вечером на пир.

«Можно сделать гениальный спектакль,— подумал Писарев, вымыв кастрюлю, где варил кашу.— Назвать его надо «Сюжеты». Ну, Митька, ну, талантище! Сцену, как и в «Клане» разбить, но не на кинокадры, а на десять, а то и пятнадцать маленьких сцен. Каждая — своя эпоха, своя культура. Должна быть разящая, подчеркнутая разность каждой сцены. Черт, был бы я художником, озверел бы от такой задачи, раздолбе для выдумки... Нет, не верно... Раздолбе для знания... Выдумка — следствие знания... Перелопатить дневники великих... Пушкин — Мицкевич, рождение замысла «Медного всадника»... Пушкин — Гоголь, замысел «Мертвых душ»... «Дневник писателя» Достоевского полон неосуществленных сюжетов... Записки Салтыкова-Щедрина... А дневник братьев Гонкур. Письма Ван Гога... Заметки Эйзенштейна о «Полтаве»... Фильм, который мог быть гениальным, хранится в замысле, проработан до мелочей... Мысль, которая осталась нереализованной, подобна словам Костера: «Пепел Клааса стучит в моем сердце».

— На подписи, Александр Игоревич, на подписи,— ответила секретарь Кирилла Владимировича, когда он, не удержавшись, набрал номер в девять часов десять минут.— Позвоните перед обедом, думаю, сможем вас порадовать...

— В районе часа, да?

— Да, да, около часа... Тут уж с утра хлопочет Василий Викторович, так что не волнуйтесь...

«Кто такой Василий Викторович? Если хлопочет, спасибо ему,— подумал Писарев,— только пусть бы активнее хлопотал. Нет страшнее казни, чем казнь временем».

В десять часов он был в институте; светила собрались на защиту докторской диссертации; он намерился изловить их здесь всех, скопом. Он не думал поначалу оставаться на защите, тема не входила в сферу его нынешнего интереса, но чем дальше он вслушивался в слова, произносимые довольно еще молодым соискателем, тем любопытнее ему становилось; впрочем, не одному ему.

— Если допустить некоторую вольность,— неторопливо говорил диссертант,— и обозначить историю термином «вечного будущего», а природу как «вечное прошлое», то позволительно, думаю, определить нашу физику, как чувство, свойственное интеллектуалу, не только пытающемуся понять смысл природы, но и связать его с историей... Если считать, что антика подарила человечеству лишь ту систему, в которой запечатлено учение, как себя держать, то наша эпоха все более и более занимается вопросом: «Как действовать?» На смену созерцанию пришла активность. Физика Древней Греции есть наука о статике осязаемых тел, наука пластики, выраженная

терминами, смыкающимися с языком античной трагедии. Арабская алгебра родила концепцию арабской физики, то есть поиск таинственной субстанции тел. Инквизиция, изгнавшая арабов и евреев из Европы, опустила занавес над сценой, где разыгрывалось великое действие прогресса. Но и после того, как трагедия свершилась, мысль не была убита. Если древние считали огонь предметом, то с тем большим правом они бы могли считать предметом мысль. Мысль можно заточить, но ее невозможно уничтожить. Она найдет себе такие обходные пути, которые не может представить ни светская, ни церковная власть. Родилась алхимия, которую я позволю себе назвать способом «научного сомнения в сущности предметов»; поиск золота — форма защиты от властей предрержащих. На самом деле алхимия как наука искала тайну сущности предметов. Парацельс — блистательное подтверждение моего допущения: именно он превратил практику магии в теорию научной медицины. От исследования тайны — к анализу Ньютона и Лавуазье. От исследования внешнего вида элементов — к осознанию их действия. Кажется очевидным, что понятия «время» и «судьба» неразрывно связаны, вне одного нет другого и — наоборот. Однако состоявшееся есть особого рода состояние: попробуем вставить в физическую формулу вместо привычного нам термина «время» слово «судьба», и мы увидим крушение формулы. Значит ли это, что столь дорогой нам мир физических форм ограничен действием, как и мир чисел? Мир представлений? Мир анализов? Об этом мне и хотелось бы порассуждать, предложив вашему вниманию известную всем задачу...

И диссертант, отойдя к доске, начал крошить мелок, стремительно р и с у я какую-то загадочную колонку цифр и обозначений.

«А я ведь думал именно об этом, когда представлял себе задником сцены университетскую доску», — подумал Писарев. Он теперь мог рассуждать спокойно, потому что перестал понимать диссертанта, мог обдумать все сказанное им и подивиться тому, как невероятно спрессовалось время и разум, сколь объемно знание, как важно быть подготовленным к нему; то, что сказал сейчас этот патлатый, измеряется двумя тысячами лет, пророчеством Эвклида, сожжением Джордано Бруно, заточением Галилея, эмиграцией Эйнштейна. А этот диссертант заколотил свои гвозди в течение пяти минут. И перешел к делу, то есть, к новому. А мы, театралы, топчемся в старом, боимся пошевелиться, страшно раскачать лодку... Ну, а другие не побоятся? Тогда — они первые, а мы — в хвосте? Так ведь нынешняя физика, как он сказал, изучает действие, вот в чем вся штука... У того, кто вырвался вперед, фора в действии. Каким оно может быть? Движение — это жизнь, а можно ли вообще разрешить эту проблему? Фаусту оказалось не по плечу, хоть и произнес: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» А потом надо же делать Фауста! Именно так! И перемежать сцены Гёте выступлением этого патлатого физика, пусть порисует у меня на сцене свои формулы... Или уравнения...



Бедный Димка, ему еще три года страдать со школьной физикой. Если бы в школе преподавали, как здесь, я бы стал отличником, потому что это интересно! Истинный отличник тот, кому интересно. Все другие — фикция, самообман, хорошая память, ловкость или крепкая задница! Во, теперь ясно!

...Ничто так не окружено тайной, как наше знание, наше оружие, наше счастье и горе — слово, произносимое со сцены. Пусть он объяснит такие слова, как предопределение или случай! Не напиши я письма, не прими меня Назаров — не было бы нового театра, а сколько людей пройдут через него, сколько родится нового качества знания, сколько гениев задумают свое в нашем зале, и это слово станет всеобщим, той точкой опоры, которая не даст перевернуть мир... Физика не сможет считать то, что мы чувствуем, погружаясь в таинственный смысл слов! Как просчитать слово «надежда»? Что это?! Кто вложил в это слово всю неизмеримую гамму чувств и мыслей, которая рождается сразу же, как только оно произнесено?! Судьба — это необходимость жизни... Стоп!.. Еще один спектакль... Он будет называться «Случай». А что?! По-моему, гениально! Ну, и скромность у тебя, Писарев, не занимать! И начинаться он будет с вопроса: открыл бы Ньютон закон земного тяготения, не наблюдая он яблоку? Ощущал ли он тихое, спокойное счастье, слушая осенней ночью, как эти спелые яблоки глухо падали на землю или этот прекрасный, связующий с понятием вечности звук проходил мимо, не разрывая сердце ощущением безвозвратности мига?

...Писарев успел договориться с академиками. Они обещали переговорить с патлатым, фамилия его была Берзинь, приехал из Риги.

...В управление позвонил из автомата, при выходе из института.

— Поздравляю, — сказала секретарь, — все подписано, у меня на столе, сегодня отправлю вам копию...

— Не надо, — ликующе попросил Писарев. — Я сейчас скажу кому-нибудь из моих товарищей, они к вам подъедут. Передайте, пожалуйста, мою самую низкую благодарность Кириллу Владимировичу за его столь доброе к нам отношение...

...Он не обратил внимания на лица друзей, которые встретили его в театре, не понял сразу той особой тишины, которая была на сцене, куда он чуть что не ворвался, как ветер.

— Где?! — воскликнул он. — Ириша, вслух!

Он понял все, когда прочитал текст приказа.

Сначала он услышал в себе жалостливое, чуть что не детское «за что?». Ему стало стыдно самого себя, он поднял глаза на товарищей; увидел слезы в глазах Ирочки; понял, сколь стар Лаптев и, видимо, тяжело болен; с удивлением отметил, что тетя Аня, внештатная уборщица, красит волосы.

Первым, неподвластным ему желанием было подняться и уйти. Так

у него бывало на боксе, после тяжелого боя, особенно если его отправляли в нокаут. («Кстати, — как-то отрешенно, подумал он, — это слово тоже было отменено одно время».)

Потом он вспомнил давешние слова секретарши о каком-то Грущине, который «хлопочет». Так это ж Васька Грущин, кто ж еще, сказал он себе.

И он понял, что ему нельзя сейчас уйти. Он должен — во имя его же друзей — сыграть сцену. Надо собраться, заставить себя почувствовать продольные мышцы спины, они должны стать его вторым хребтом, ничего, что они какие-то вялые, и вообще все внутри все похолодевшее и вялое...

«За что?»

Надо подняться и усмехнуться. Вот так. И что-то сказать. Только спаси бог ошибиться в интонации, они ведь талантливые, они сразу же заметят фальшь, а если его станут жалеть, то погибло дело. В конечном счете не один он затеял все это, с ним единомышленники, а состоявшееся не исчезает. Или исчезает на какое-то время, чтобы потом возродиться снова.

«Но ведь это будет совсем другое?»

Ну и что? Важно сложить лестницу, по которой пойдут.

«Только врать не надо. Растрелли был убежден, — хоть, верно, и не думал об этом, — что на его домах укрепят мемориальные доски, только потому и работал на века».

— Конечно, обидно, — сказал он, наконец. — Просто чертовски обидно. Умел бы плакать, ей-богу, заплакал бы. За что? Не знаю, хоть побейте. Как всегда, есть два пути, и не более того. Первый путь... — Он достал сигареты, закурил, красиво затянулся, он знал, что в трупе любят, как он курит, ему Кира об этом говорила, когда они сидели на банкете, после того, как ей дали государственную премию. — Первый путь, — повторил он, — это обида. И отказ от работы, тем более что актеры у нас пока что сидят на зарплате в других театрах, а самостоятельные патриоты нашего предприятия получают оклад содержания по основному месту работы... Видите, как формулирую? — Он улыбнулся. — Значит, оклемался. Есть второй путь, и я стою за то, чтоб мы его избрали. Продолжать работу. Мы получили на это право... В форме приказа. Обида — плохой советчик в нашем деле... Путь к звездам всегда лежит через тернии... Самсоньев — мой мастер, это настоящий художник, он союзник нам... Если мы обидимся, мы не скажем того, что хотели сказать, а мы обязаны это сделать, разве нет?

— Мы напишем... — дрожащим голосом начала Ира, но убежала со сцены, в слезах.

— Хочешь, я схожу поговорю с ними? — спросил Лаптев. — Надену все свои регалии, их у меня двадцать четыре, и пойду...

«За что? Ну, за что же?!»

— Писать не надо,— ответил Писарев.— И ходить не надо. Помните, как Фадеев закончил «Разгром»? Здорово закончил: «Надо было жить и продолжать выполнение своих обязанностей». Вот так. Отлито в бронзу. Репетицию проведем завтра, в девять часов, как обычно.

— Ты позвонишь Самсоньеву? — спросила Кира.

— Зачем? — Писарев пожал плечами.— Я думаю, он сам придет к нам...

— Он позвонит тебе домой сегодня,— сказала Клара.— И попросит тебя приехать на чашку чая.

— Съезжу,— заставил себя усмехнуться Писарев, но понял, что просто так закончить этот разговор нельзя, он не имеет права, они почувствуют, что он неискренен с ними, они ж понимают, что произошло крушение его судьбы, не зря Стендаль говорил, что ему нужны ордена и кресты лишь для того, чтобы защищать свое искусство.

— Мне очень, конечно, больно все это, люди,— сказал он.— Я должен сегодня подумать обо всем происшедшем, и, видимо, мне предстоит принять какое-то решение, и, мне сдается, оно будет в известной мере крутым... И все-таки это мое решение будет исходить из вероятий второго пути, а это путь работы. Не кукситься, люди! Не станем давать повода для радости тем, кто этого ждет. До завтра.

...Потеряв сознание от рвущей боли в сердце, Писарев упал не сразу; он стоял еще, а потом, переломившись пополам, но мертвый уже, сделал несколько шагов, прежде чем обрушиться тяжело на асфальт, под колеса новенького «Жигуля».

...Судебно-медицинским экспертам предстояло еще выяснить, от чего наступила смерть пешехода, но Арина Станиславовна Назарова, только что защитившая кандидатскую диссертацию, ехавшая в «Арагви» на банкет, где ее ждал отец, Станислав Федорович Назаров, и друзья, была до выяснения обстоятельств задержана и препровождена в дежурную часть ГАИ Кунцевского района.

## **ПРОЩАНИЕ С ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНОЙ**

**(или две ненаписанные повести)**

*Посвящается Е. М.*

### **1**

Здесь, в мартовских Карловых Варах, светает рано, сквозь ключья тяжелого, набухшего тумана, который таинственно клубится в котловине, а потом, нехотя и лениво, поднимается в горы, и тогда взору

окрываются красные черепичные крыши, тронутые глянцевой изморозью, сказочные трубы, из которых струятся тугие, серые дымы, черный лес и мокрые песчаные дорожки в нем.

Я вышел из санатория, когда еще было сумеречно и на улицах ни души, и не громыхали еще автобусы, и туман был так близко, что можно было подпрыгнуть и дотянуться до него, как когда-то дотягивался пальцами до сетки на баскетбольном поле; и я подпрыгнул, выбросив руку, но до тумана не дотянулся, потому что последний раз играл в баскет, когда мой институт сражался против энергетиков, а было это двадцать лет назад.

...Я попробовал прыгнуть еще раз, но получилось еще хуже, и я трусливо успокоил себя тем, что туман поднялся, а ведь туман-то не поднялся, оно клубился рядом, близко, очень близко.

«Не лги себе,— сказал я.— Не надо. Мы живем в возрасте, словно в социальной группе, и мы движемся этой единой группой во времени. Мы не замечаем собственного старения, как, впрочем, не очень замечаем мужания тех, кто шел следом за нами,— мы точно видим лишь, как делаются стариками те, которым было сорок, когда мы кончали институт. Собственная седина кажется новым качеством, всего лишь».

А потом я услышал треск мотоциклетного мотора. Мотоциклист поднимался от Лазней по крутой серпантинной дороге. Он был в черной, намокшей под дождем кожанке, за спиной у него висел портфель, и хотя лицо было скрыто большими очками, на губах паренька можно было прочитать счастливую улыбку.

Осторожно вписавшись в вираж, мотоциклист проехал мимо меня и скрылся за поворотом, и я остался один, и мне сделалось страшно, потому что это я проехал мимо меня, и нет меня, и не увижу я себя больше таким — в мокрой кожанке, с портфелем за спиной, куда ты прятала два бутерброда, тщательно завернутые в вошеную бумагу, когда я уезжал с Николки в университет, на кафедру Востока, к профессору Рейснеру.

...Помнишь, я привел двух грузчиков, которые злобно подхватили мое пианино и, толкая ногами двери, понесли на продажу немецкое, с подсвечниками, «Блютнер». Через семь дней я получил в комиссионном деньги и купил себе новенький маленький красный «Ковровец» и вожделенно сел на седло, и проехал по двору, и ощутил странное и страшное чувство скорости — будь оно неладно! Наверно, тогда все и началось, именно с этого «Ковровца», который позволил мне экономить время.

В тот первый день я очень торопился к тебе, и мой «Ковровец» казался мне модной «Индианой». Я выжимал максимальную скорость, трескучую, ветряную, казавшуюся мне тогда стремительной — пятьдесят километров, и я пел песни от счастья, и, наверно, именно из-за этого меня остановил орудовец и потребовал права,

а у меня еще не было прав, и он попросил меня отогнать мотоцикл «в сторонку», и я понял страшный смысл, заложенный в этих словах, и начал рассказывать ему своими словами двадцатипятилетнего про то, как ты меня ждешь.

...Я помню, как въехал тогда во двор. Я помню тебя — какой ты была восемнадцать лет назад: я помню твои раскосые глаза и длинные гибкие пальцы, которые умели раскрываться, как лепестки, и я помню, как ты закрывала лицо свое и была видна только кнопка носа и большие, телячьи, добрые глаза, и шепот твой, доверчивый и единственный, — нет такого другого и не будет больше никогда.

Помнишь, я тогда предложил тебе сесть на багажник «Ковровца» и обхватить меня руками? Я очень хотел увезти тебя в лес и покатать по мягким белым песчаным дорожкам и посидеть на берегу реки, наблюдая, как поднимается тяжелый слоистый туман, а потом разжечь костер и ощутить счастье от того, что мы молоды и что все у нас впереди...

Помнишь, ты тогда засмеялась и сказала, что никогда не сядешь на багажник, потому что он слишком мал для тебя и ты не хочешь быть смешной, и я ужасно, до нестерпимой боли обиделся, потому что весь день мечтал о том, как повезу тебя по дорожкам и моя скорость делается нашей общей скоростью.

Господи, кто ж это выдумал: принимай человека таким, каков он есть? Тебя я принимаю только такой, какой ты мне мечталась. И никакой другой.

Наверное, не надо мне было уговаривать тебя тогда. Но если бы я думал о наших с тобой отношениях как политик, исповедующий постепенность, тогда, значит, нет любви, ибо, когда начинается политика, тогда вступают в силу законы, не связанные с нежностью.

Сейчас я думаю, что каждому, кто приходит регистрировать любовь, надо выдать анкету из пяти пунктов и попросить ответить на нее через полгода, и никак не раньше. В этой анкете должно быть пять параграфов; ответы предполагаются однозначные, никаких компромиссов. Первое: хорошо ли вам вдвоем, когда ты ищешь сухие губы и когда нет тайны, и в этом — самая прекрасная тайна бытия, и нет времени, а в этом — его высший смысл. Второе: хорошо ли вам двоим в концерте, театре, кино, в галерее? Интересно ли вам понимать друг друга, открывая мир, который отныне принадлежит вам двоим? Третье: хорошо ли вам сидеть вдвоем за столом и есть мясо, или грызть черный сухарь, или пить сухое вино, или пустой чай. Четвертое: хорошо ли вам, когда вы вместе уехали в горы и идете вдвоем по тропе, и одинаково ли вы видите небо, и стеклянные ручьи, и поля тюльпанов, и можете ли вы не отставать друг от друга, преодолевая усталость, чтобы не мешать друг другу, ночевать у костра — и не гневаться, что нет места на турбазе? Пятое: хорошо ли вам, когда приходят друзья, или один из вас не любит друзей и требует, чтобы пришли иные люди,

или вовсе не хочет никого видеть, полагая, что любовь довольствуется данностью — ты и я, и никого больше? Нарушение гармонии в любом из этих пяти параграфов чревато горем.

Ты тогда не хотела показаться смешной. А почему твое «я» должно было утверждаться во мнении случайного прохожего, который встретится нам в лесу? Разве это достойно — быть рабом чужих мнений? С милым-то и в шалаше рай, а тут красный «Ковровец»!

Знаешь, наверно, именно тогда я ощутил свою жалкость — я был бессилён переубедить тебя. Ты смотрела на себя не своими и не моими глазами — ты смотрела на себя со стороны. Вообще-то созерцание — это великий дар. Оно подобно мгновению, когда человек соприкасается с прекрасным, когда он освобождается от всего земного и бренного и слышит вечность. Это обретение того, что неизвестно сейчас остальным, — вот, наверно, что такое созерцание. Но ведь первые созерцатели, добрые древние эллины, дали разрушить свой мир культуры потому, что созерцание, как и все великое, чревато вторым смыслом — отрицанием атакующего начала, пренебрежением перед действенным, которое всегда определяется скоростью.

...Есть, правда, и другая форма созерцания — это обращение взгляда в свой взгляд, постоянное рассматривание себя в зеркале, которое всегда криво, а собственное — особенно. Мир самосозерцателей такого рода разделен на две категории — тех, которые влюблены в себя (их, мне кажется, большинство), и на тех, кто себя боится, считает неполноценным, не верит в себя. Это меньшинство человечества особенно ранимо; «комплексы» требуют самоутверждения, но боятся поступка, который лишь и может отринуть неверие в себя.

Если бы я послушал тебя тогда, в самом начале, и не стал покупать мотоцикл, который дал мне первое ощущение скорости в пространстве, все у нас сложилось бы иначе: я научился бы спокойно относиться ко времени, и ходить пешком от автобуса, и ездить на электричке, и сидеть потом с тобой у печки, и рассказывать о прожитом дне, вместо того чтобы стараться написать день будущий. Скорость — это одна из форм несвободы. Я сам избрал свое добровольное рабство — экономить время, которое так нужно всем пишущим и рисующим, и некого винить в этом. Просто мой маленький красный «Ковровец» стал тем первым утешителем, который начал увозить меня от тебя, от себя самого, от нас.

Какое-то время я еще мечтал, что ты скажешь: «Давай-ка я пристроюсь на багажнике, и мы поедем по песчаным дорожкам за Аксиньино — собирать подберезовики на Пашкиной поляне». Может быть, я слишком мало ждал? Во всяком случае, ты этого так и не сказала.

Ох уж это французское «Возьмите!». Если вы больны, вам скажут: «Возьмите таблетку аспириля»; если вы торопитесь, вам посоветуют: «Возьмите метро»; если вы хотите убежать от самого себя и тоска давит грудь, вам порекомендуют: «Возьмите самолет и отправляйтесь в Марсель, там море и солнце, там все пройдет».

Словом, я «взял» метро и поехал в центр Парижа.

Было то время, когда народу в метрополитене совсем немного — так бывает от десяти до двенадцати; уже схлынул поток рабочих, служащих и школьников.

В том вагоне, куда я вошел, было пусто: женщина возле двери и я. Женщина чем-то напоминала тебя, только в ее лице была усталость, а пальцы привычно сжимали ручку портфеля, из которого торчал рулон бумаги, видимо, чертежи. Вообще-то у многих парижанок глаза похожи на твои — так же широко поставленные, они выделяются на лице, словно бы вобрав в себя все самое главное, и поэтому нос, лоб, брови, губы лишь дополняют эти глаза, в горьких пунктирах ранних морщин.

А на следующей станции в вагон вошел мужчина — седой, жилистый, высокий, лет пятидесяти. Какое-то мгновение он разглядывал пустой вагон, рекламные плакаты, которые известны всем парижанам, потому что меняют их раз в сезон, но я-то знал, что разглядывает он не пустой вагон, а просто-напросто рассчитывает, как бы ему полвечее остаться возле двери, напротив той женщины. Он притулился к металлическому поручню неловко — мне было видно, как ему неловко, и он тоже, верно, понял, что стал неловко, и начал сосредоточенно разглядывать уродливые и зловещие кабели, которые пронеслись мимо, прижатые к стенам туннеля металлическими держалками, похожими на когтистые пальцы черта из средневековых иллюстраций Библии. На самом деле он смотрел не на эти кабели, а разглядывал в стекле отражение лица той женщины, и когда взгляды их встретились в безмолвном холоде стекла, он закашлялся, неловко прикрыв рот широкой ладонью, и осторожно перевел взгляд с изображения женщины на нее. И женщина посмотрела на него, и случилось что-то такое, что случается, когда встретились два человека, за каждым из которых — жизнь.

...Чудо возникает тогда лишь, когда исчезают все звуки окрест, а вместо гадючьего шипения пневматических тормозов и металлического лязга открываемых дверей возникает музыка. Я-то слышал и шипение тормозов и быстрый вздрагивающий перелязг дверей, но я смотрел на тех двоих, откинувшихся на металлические поручни, и ощущал ту музыку, которая возникла для них, — аккордеон или

гитара, но обязательно с пронзительной и светлой жалобой на то, что не состоялось, не совершилось, не почувствовалось: песни слепцов бывают только такими. Видимо, мужчина и женщина думали о своем, о прошлом, но потому лишь, что они увидели сейчас друг друга. Когда возможно будущее, люди обычно начинают вспоминать старое. Каждый из них просматривал свою жизнь, словно на монтажном столике старую киноплёнку. А разве можно «отмотать» жизнь назад? Это ведь не плёнка с мертвым изображением, это то, что было и чего никогда не будет больше.

Наверное, то, что они смотрели сейчас, было киноповестью, с резкими монтажными стыками прошлого и настоящего, причем прошлое было черно-белым, а настоящее казалось им цветным, то есть истинным, единственно истинным.

Мужчина и женщина смотрели друг на друга неотрывно. Лица их были недвижны — жили глаза.

Что сейчас вспоминалось ей? Кого жалела она? Она жалела кого-то, я чувствовал это. Может быть, она жалела любовь, которая — ели это истинная любовь — обретает черты знакомого и привычного образа? Или она жалела себя, потому что лишилась любви? Или того, кто ее любил? Он не мог умереть — тот, кто любил ее. Когда умирает тот, кто любил, — глаза полны горечи и свободы. А она была несвободна — я прочел это в ее глазах, а несвободный человек не может любить того, кто лишил его свободы быть самим собой. Любовь — это право выбора. Выбор — удел свободы. Нет, наверное, она жалела себя, потому что, когда мы думаем об утерянном, чаще всего видим себя, как в плохом телевизионном фильме, решенном одними крупными планами.

Мне показалось, что тот, кого она любила когда-то, был хорошим инженером или чиновником в иностранном ведомстве. Люди практики, знающие, отчего могут остановиться станки или сорваться переговоры, они живут делом, и всякого рода эмоциональные рассуждения «по поводу» чужды им. А эта женщина, казалось мне, рождена мечтателем: она вся внутри себя — ведь глаза ее так похожи на твои. Видимо, она тоже подчинила себя своим представлениям, рожденным в детстве еще. (Если понаблюдать за маленькими девочками, играющими в «дочки-матери», можно с определенной долей вероятности определить, какими они станут. Некоторые шлепают кукол и тоненько кричат на них, другие увещевают фарфоровоглазых детей своих, третьи придумывают им игры, чтобы самой освободиться и бегать наперегонки с мальчишками.) Представления о людях, морали, убеждения, созданные в детстве характерами, обращенными в себя, — бескомпромиссны и жестоки; инженеру или дипломату, который знает разность истин, конечно же, трудно с такой женщиной.

А мужчина? Холост он? Разведен? Одинок? У него было очень



сильное лицо. Я жалею таких людей — на них словно бы проставлен знак качества, а мы, увы, рабы стереотипа. Нам навязаны представления — сухая поджарость привычно кажется нам синонимом мужества и внутренней силы. Нежное, детское лицо Юлиуса Фучика противоречит — в плане стереотипного восприятия героя — всей его судьбе. Или Черчилль. Волевой политик, а лицо женщины, страдающей почечным недугом.

О чем думал тот мужчина так трудно и горько, неотрывно припав к глазам женщины? На лбу его залегла морщина. О чем вспоминал он, встретив эту женщину?

Отчего-то мне подумалось, что этот мужчина любил актрису, известную актрису, или певицу, хриплоголосую, веселую, грустную, чистую, распутную, нежную, ищущую, неверную ему и — одновременно — очень, до конца, верную. Это так трудно — любить знаменитую женщину; я посочувствовал седому мужчине. А потом я подумал о том, как он должен был тиранить ее любовь — это одна из форм собственности. Женщина, которая принадлежит всем, должна была вызывать в нем ярость: «мое» — пока еще не объявлено вне закона. В слепой ревности он был одержим. Он завел себе любовниц, думая заглушить ревность и «уравняться» с нею. После этого он стал тиранить ее еще страшнее: фантазия должна быть уделом творцов, в противном случае она может выродиться в навязчивый бред.

...Я одернул себя: нельзя же так сочинять людей. Познать внутренний мир человека — удел гения, да и то не каждого. Когда гений начинает жестоко морализировать, навязывая свое «я» окружающим, мы восстаем, считая это тиранией. Гений обязан показать, так показать, чтобы мы испытали счастье обновления, чтобы нам открылась тайна, сложность и простота...

«А если они оба предатели? — спросил я себя. — Что, если каждый из них придумывает прошлое, увидав расплывчатый, возможный краешек будущего? Они смотрят друг на друга, но живут собою, каждый самим собою».

Нечестны люди, вынудившие себя исповедовать эгоцентризм. Это не бывает врожденным, это не темперамент, это приобретенное свойство характера. Эгоцентризм существует под постоянным прессом двойного гнета — своего мятущегося «я», клокочущего, не выразившегося в деле, а потому болезненно самолюбивого, ранимого и обидчивого, и гнета, кажущегося гнета, со стороны всех остальных людей, которым постоянно надо казаться. Несчастные эгоцентрики лишены веры в этот мир, они живут своими представлениями о добре, справедливости, любви, которые не позволяют им принимать то, что хоть как-то отличается от тех привычных стереотипов, которые над ними довлеют. Они тиранят близких, пытаются воссоздать стереотипную гармонию, подверстать окружающих под свои представления.

Желание достигнуть идеального родило Великого Инквизитора. Дорога в ад вымощена благими намерениями, разве нет?

Не знаю, отчего я так жестоко подумал об этих двоих — сначала я смотрел на них с горькой нежностью. Вероятно, я спроецировал каждого из них на нас с тобой, а еще больше на самого себя — увы, первый план свойствен не только плохой режиссуре. А может быть, я так подумал о них, потому что он был сед, высок и слишком уж значителен, а она красива, очень красива, но она не хотела и не считала нужным скрывать, что чувствует себя несчастной и винит в этом жизнь — не себя.

Я проехал мою станцию, проехал еще четыре станции, потому что я хотел дожидаться, пока они выйдут. Они ведь обязательно выйдут вместе, они так много сказали друг другу, что должны выйти, и молча взяться за руки, и ощутить сухое и горькое тепло друг друга, и медленно пойти по перрону. Ну, а как им будет потом? За каждым из них годы жизни — и с другой и с другим. Я обкатывал мой красный мотоцикл две недели — люди «обкатываются» годами и умирают, так и не обкатавшись. Господи, какое множество нереализованных Бетховенов, Чеховых и Эйзенштейнов каждый час покидают наш мир! Обкатка — это становление, это подчинение режиму движения, постоянного движения, хотя понятие «постоянно» относительно: гарантия — сто тысяч километров.

А что, если по прошествии месяцев он или она не смогут уснуть и вспомнят с доброй тоской тех, кого они оставили? Хотя кто винит себя в своем горе? Помимо заложенных в каждом способностей, существует одна, постоянная — мы адвокаты самих себя, и что в сравнении с этим вечным адвокатом старик Плевако?!

...Мужчина вышел первым. Какое-то мгновение она хотела выйти следом. Наверное, она ждала, что он позовет ее. Зачем верить словам, если они читали друг друга по глазам? Хотя никто, как женщина, так часто не спрашивает: «Ты меня любишь?» Мужчина ждет поступка, женщина — слова.

Она не вышла. Почему?

...Я уже никогда не напишу две эти повести: я слишком долго над ними думал и рассказывал их себе, а литература — это увлеченность, это всегда новое, это всегда сразу, это неудержимо. Я попрощался с тобой двумя этими ненаписанными повестями. Мне их жаль, как жаль неродившееся дитя. Мне пусто без тебя. И все то новое, что будет у меня или у тебя, может оказаться прекрасным. Только не будет красного мотоцикла. Будет метро.



## **ДЛЯ ВАС, КНИГОЛЮБЫ!**

Книжные магазины РСФСР предоставляют Вам возможность не только купить книги, но и приобрести их по выигрышным билетам Всероссийской книжной лотереи.

Стоимость билета 25 копеек, сумма выигрыша (50 копеек, 1, 3 и 5 рублей) указана на внутренней стороне запечатанного билета.

По выигрышным билетам можно приобрести любую книгу или другие печатные издания по своему выбору из наличного ассортимента книжного магазина или киоска.

Если сумма выигрыша меньше стоимости выбранной Вами книги, можно произвести доплату наличными деньгами.

90% стоимости билетов направляется на выигрыши.

Прочитанные книги Вы можете предложить книжным магазинам для повторной продажи. Этим Вы окажете добрую услугу другим книголюбам.

**Росглавкнига  
Дирекция Всероссийской  
книжной лотереи**